МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ

Сибириада



42-й до востребования

Сибириада

Михаил Тарковский

42-й до востребования

«ВЕЧЕ»
2025

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)

Тарковский М. А.

42-й до востребования / М. А. Тарковский — «ВЕЧЕ», 2025 — (Сибириада)

ISBN 978-5-4484-5847-7

Новый сборник произведений Михаила Тарковского открывает книга воспоминаний «42-й до востребования», в которой писатель рассказывает историю своего детства. Главная фигура развернутого мемуарного повествования — бабушка писателя Мария Ивановна Вишнякова, воплотившая множество драгоценных черт русской женщины, прошедшей через тяготы и лишения, однако сохранившей в душе чистоту и любовь, терпение и самоотверженность.

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-4484-5847-7

© Тарковский М. А., 2025
© ВЕЧЕ, 2025

Содержание

42-й До востребования 6
Часть первая 7
День рождения 7
Щипок 7
Миванна 8
Соседи 8
Конфетка 8
Двор 9
Фанерка 10
Кто на вставке? 11
Ручка двери 12
Котлетка 15
На границе 16
Стыдобушка 18
Ёлка 21
Альбастра 24
Кинешма. Первый приезд 27
Кинешма. Второй приезд 30
Ленинградское 38
Горка 42
Хутор 45
Дядя Ася 54
Пока жива 56
Конец ознакомительного фрагмента. 58

Михаил Тарковский
42-й до востребования

© Тарковский М. А., 2025
© ООО «Издательство «Вече», 2025

42-й До востребования

МОЕЙ МАТУШКЕ

Не оборачивайся, Иванушко, остолбенеешь… Но как не вспомнить детские годы, особенно самые ранние, напитанные ощущением такой необъяснимой значимости происходящего, что всё как в сумерках, но не из-за раннего вечера, а из-за общей густоты происходящего, крепости смыслов. Словно ещё провожает праматеринское, хотя молодой мир уже льётся потоком, и ты весь – как неприморгавшееся око.

Трудно, судорожно подаётся окрестность, и ты неверно идёшь, увязаешь. И от каждого шага охватывает тайной уже секунду спустя, и чем глубже затягивает прошлое сандальку с хлябкими ремешками, тем бездонней зияющий след и родней веренница отпечатков. И чем чаще оборачиваешься, тем непостижимей светлый столбняк…

Из старых записей

Часть первая

Большая часть моих предков пришли из русской старины, и ощущение корня, пожалуй, было главным, что я вынес из детства. Главным же хранителем этого корня была бабушка, сумевшая передать главное, так и не произнеся слов «корень» и «старина».

Я родился и вырос в Замоскворечье, в деревенских почти переулках. Две комнаты были у нас на первом этаже двухэтажного дома с кирпичным низом и бревенчатым верхом. Родители работали, пытались снимать жильё неподалёку, а позже купили «кооперативную» квартиру в другом конце города, в Марьиной Роще. До пятого класса школы я прожил с бабушкой Марией Ивановной. С детства меня окружало целое скопище прекрасных людей, но именно бабушка стала моим самым непостижимым и кровным человеком. Это книга о бабушке и близких её по роду.

День рождения

Дверь нашей общей квартиры отворялась в длинный коридор с дощатым полом. Слева он почти сразу же выходил во внутренний двор к моим окнам, а справа тянулся мимо других дверей к улице. Был он тёмным и бесконечным, а когда кто-то отворял уличную дверь, его даль вспыхивала ослепительно-ярко. И становились видны длинные и узкие половицы, рельсово уходящие в лучистое марево.

По левую руку жили работницы «Гипрожира», приехавшие из деревень. Их квартира звалась Общежитием. Была среди них тётя Надя, сутулая, худющая, скуластая, как кошка, и с чёрно-жгучими глазами. Бегала она в красно-зелёном халате с засученными рукавами.

Первый свой день рождения запомнил так: иду по коридору в сторону улицы. Из общежития выскакивает кошачье-скуластая тётя Надя. Я заявляю:

– Мне три года.

Она отрезает:

– Год.

Почему «год»? Может, она и другое сказала, но близких рядом не было и свериться не с кем. Да и смотрел я на мир, как сквозь цветной холодец. Вздроги, неверность движений, их пробность. Было ли – не было…

Да было: день полёта Гагарина помню отлично, а мне два с половиной года. Идём мимо керосинной лавки, и над городом высоко в небе летит вертолёт, красный Ми-4. Уже отбросал листовки… На улицах по-праздничному пустынно, и отсветом вертолёта сеется из поднебесья ровный розовый свет.

Щипок

Название Щипок происходит от слова «щипать». Бабушка говорила, что здесь, на заставе, щипали купцов, въезжающих в город. Я представлял, как вдоль дома идут обозы и как их останавливают, и хоть и понимал, что щипаньем называлось таможенное обирание, всё равно забавлялся, представляя, как толстого купца щиплют за бока, а он елозит и жмётся. Потом вычитал, что щипком или щупком называли палку, с помощью которой будто щупали контрабанду – протыкивали сено.

Переулка Щиповских было два – один наш, умеренно кривой, а другой – совершенная загогуля – Второй Щиповский. Он был натуральная деревня: земля, избёнки, заборы, колонка с пенной водой.

Удивительные названия окружали меня с раннего детства. Житная, Валовая, Стремянный. Житная – там был житный двор. Валовая – от слова «вал». Мытная и Зацепа: мыт – пошлина за скот, зацепа – от слов «за цепью» – на заставе была натянута цепь, чтобы возы соблюдали очередь перед тем, как их будут щипать на Щипке.

Мытная казалась чем-то стыло-мыльным и требовательным, как помывка. Валовая: что-то мощное, грохочущее не то валунами, не то ядрами. По Зацепе ходили трамваи, и название являло что-то среднее между трамвайным звоном и сцепным кулаком. Был ещё Стремянный, он будто сомневался и щурился.

А на Шаболовке я родился. Бабушка проглатывала гласные, рубила: «крандаши», «универстет», «Шабловка». Я много лет так и говорил «на Шабловке» и с удивлением узнал, что улица эта именно *Шаболовка* с каким-то болтающимся «о» посерёдке.

Маме в роддом дед прислал телеграмму: «Поздравляю маленьким хорошеньким». Незадолго до родов мать с дедом выбирали мне имя по святцам и решили назвать в честь Михаила-архангела, Кутузова и Лермонтова.

Миванна

Родители переехали в пятиэтажный дом в Марьину Рощу. Грузную и полуслепую мою прабабушку, Бабушку Веру, переселять на пятый этаж без лифта было и в помыслах нельзя, да и бабушка Мария Ивановна хотела жить отдельно. В сад меня не отдавали.

«Мари Ванна, к телефону!» – на всю квартиру кричит соседка тётя Маруся: телефон висит в прихожей между их дверями, чёрный и будто костяной.

Я подхватывал истошно: «Миванна! Миванна!»

Теперь самое сложное. Бабушки у меня три: первая – прабабушка Бабушка Вера. Вторая – отцова мать, бабушка Мария Макаровна, она живёт в Болшеве, под Москвой. И третья – бабушка Мария Ивановна, моя главная бабушка.

Я очень дивился, когда её называли «Маша» или «Маруся». «Маша» ещё как-то шло, а «Маруся» представлялось чем-то розовым, поросёночным, к которому смешно примешивались «трусики», и ещё что-то мокрое, утреннее, какие-то «росы». Соседка тётя Маруся была полная и носила халат в красный горошек. С сухощавой и аскетичной бабушкой это никак не вязалось.

Соседи

В квартире ещё две семьи. Тётя Настя с дядей Лёней, у которых мы смотрим парад по телевизору, огромному, с увеличительным стеклом на лапках. Если заглянуть сбоку за выносной этот иллюминатор – экранчик совсем маленький.

И тётя Маруся с дядей Серёжей. Сергей Анисимович из Сибири родом – худощавый, длинный, прямой. Угловато-локтястый. Лицо суховатое шукшинское, но морщинистей и сердитей: напряжённое, сосудистое, темноватое с красными небольшими глазами. Он работал слесарем и выпивал. Мне напоминал молоток или наш кухонный кран – жёлтый, латунный. Кран ожесточённейше гнал вспененную воду. Когда только начинали откручивать, давал пробный обстрел по кругу, словно внутри заусенец. Наша дверь была точно напротив крана и тоже имела латунную затёртую ручку.

Конфетка

Родители приехали, возбуждённые, вечерние. У мамы блестят глаза. Она ставит на стол красную коробку с оленем – набор шоколадных конфет. Стол овальный, с резными ножками,

коричневые завитушки. И конфеты тоже есть овальные и коричневые, есть квадратные, среди них бутылочка – завёрнута в золотую бумажку. Я умудряюсь до неё добраться и съесть. Внутри сладко-терпкая густая жидкость, шершавинка шоколадных стенок.

– Мама, я съел бутылочку.

– Там же ликёр. Ну всё. Теперь ты будешь пьяным.

Рот мой неуправляемо кривится, я с рёвом бегу к бабушке: «Бабушка-а-а! Мама сказала, что я буду пья-я-я-яный!»

Мама бросается за мной. Бабушка накрывает меня рукой и машет маме: мол, иди, разберусь. Когда мама собирается заплакать, её подбородок берётся мелкой ямкой, как персиковая косточка. Вот и сейчас намечается невыносимая косточка, и мама уходит.

Пора спать.

Лежу в кровати, ковыряю стену. Уже давно проковырял здоровую, с мой кулак, дыру с сизой пылью. Обои торчат лохмотьями. Пыль сыплется в кроватку. Нижний лепесток обоев ещё может задержать труху, но я его тереблю, и – всё на простыне. Сколько раз меня ругали, а я ковыряю.

Уже давно должны «полететь сороки»: по чёрному полю стайка чёрно-белых в зелень точек, которые, сдвигаясь вбок, куда-то едут, едут и едут… Так всегда, когда засыпаю. Но сороки не летят, и я зову бабушку:

– Бабушка, я теперь умру?

– Нет. Нет, конечно…

Утешает негромко, но без сюсюканья.

– Ты до-о-олго будешь жить…

И добавляет зачарованно:

– В двадцать первом веке тебе будет сорок два года…

«Двадцать первый век» звучит, как нечто возвышенно-фантастическое… Говорит серьёзно, чуть мечтательно, но без намёка на сожаление, на жалость, что её не будет. Как в дорогу собирает. С тихой радостью оттого, что дойду в такую даль и за неё другой век увижу. А я леденею оттого, насколько буду пересохло-старым, и в слове «сорок» чудится рок.

Плачу, и мне хочется спросить:

– Бабушка, а ты-ы-ы?

И не спрашиваю.

Двор

У нашего дома низ кирпичный, штукатуренный жёлтым, верх бревенчатый, крашен коричневой краской. Сам дом буквой «Г» и в его углу, закутке – внутренний двор, куда выходит моё окно. Если смотреть, то прямо стена «Гипрожира», слева – противопожарная кирпичная стена, а справа – терраска наших соседей – тёти Ксени и дяди Гриши. Всё встык.

«Гипрожир» – институт, где проектируют жиры. Окна «Гипрожира» весной открывались, и оттуда нёсся звук печатных машинок, мягкий, шепчущий, летучий. Я его сам себе изображал, поднося к уху ладонь и шевеля пальцами впритирочку.

Так же задумчиво питала мои ранние времена дверная песня магазина «Напротив», музыкально-заунывная, она раздавалась с другой стороны дома, с улицы. Из магазина «Напротив» по коридору проходили троицами дядечки и стучали в окошко: «Стаканчика не найдётся?» Стаканчик тут же выдавала бабушка, словно между ней и дядечками стоял уговор. Дяденьки в чёрном, в кепках, худощавенькие, маленькие и какие-то предельно измочаленные. Когда их изношенность совмещалась с водочкой, они ещё добрели морщинками.

Выпивали за столиком в углу двора, где была и скамеечка. Дяденьки очень быстро приканчивали бутылочку, возвращали стакан и уходили, и в этой деловитой, закругляющей рез-

кости было что-то особое – будто они не для себя делали, а для дела-порядка. Рассчитывали, что водочка ещё долго будет работать на остаток дня, и просто её проболтать в разговоре – не по-хозяйски.

Окошко моё, око несмыкаемое… Я глядел им бессменно. Как-то соседи, муж с женой, мыли лыковой мочалкой собаку, добермана-пинчера по кличке Эра. На улице было прохладно, начало весны, когда особенно остро воспринимаешь именно холодок. Эра была короткошёрстная и сама по себе вызывала зябкость, а тут и вовсе в мыле стояла, дрожа и встречно упираясь телом, когда её проглаживали мочалкой, и я шкурой чувствовал, как стыло ей на ветерке. Тётя Ксеня вышла и, глянув на собаку, сказала: «Холодно́!»

После Нового года под стену за сугроб кидали старые ёлки. Мы прыгали со стены, как на пружинный матрац, на две-три ёлочки, сквозистые, осыпающиеся, с сиротливой серебряной дождиной на жухлой кронке. Раз после прыжка меня откинуло и шарахнуло затылком о стену, так, что после лежал в кровати час или два с головной болью.

Ещё было наше окно в нише. Заигравшись, я споткнулся и упал на самую её грань – пришлась под рот, меж губой и подбородком. Пробил о зубы, так что, если отвернуть изнанку, белел шрам. Я его всем показывал. Потом о стену «Гипрожира» ссадил руку. Одна тёти-Ксенина терраска меня не тронула.

Фанерка

Дядя Гриша с тётей Ксеней небольшенькие, тётя Ксеня в очочках и рыжем пальтишке – туго набитый воробышек. В платочке серењком шерстяном: повяз крестьянский – с двумя заломами, на лбу козырёк.

Дядя Гриша маленький, худоватый и всегда в чём-то потёрто-чёрном и в чёрной кепке. Лицом похожий… может быть, на измождённого Бунина. Глаза куда-то вниз смотрят, но не прячутся, а просто под ноги вглядываются. И веки будто большие и в складочках…

Терраску дядя Гриша пристроил сам. Она выцветше-рыжая с переплётами в квадрат и ромбик.

Однажды с Мишкой Кузнецовым, моим другом со второго этажа, мы играли во дворе. За столиком сидели с бутылочкой дяденьки, и тётя Ксеня вынесла им солёные огурчики, угостив заодно и нас. Мишка громко грыз огурец, щурился и так грызанул, что соком попал мне в глаз. Мужички засмеялись, а один сказал: «Ты как снайпер!»

Тётя Ксеня тем временем куда-то ушла с авоськой, заперев дверь на замочек – дяди Гриши не было дома. А мы с Мишкой взялись кидаться камнями. Моя позиция располагалась возле терраски лицом к нашим окнам, Мишкина – метрах в восьми. Кидались некрупным щебнем, жёлтоватым в ржавчинку, и всё шло прекрасно, как вдруг Мишкин камень ушёл к терраске и, не задев переплёта, пробил стеколко и точно попал в трёхлитровую банку с тёти-Ксениными солёными огурцами – банки стояли на столике. Мы глянули в дыру. Огурцы опали кучкой, мешаясь с битым стеклом. Закапал рассол. Дяденьки, уже собравшиеся уходить, покачали головами, а один сказал: «Точно снайпер!»

Я испытывал и восхищение проделкой, и гордость за Мишку, и зависть к его ухарству, но Мишка, побелев, сказал деловито: «Пойду доложу» – и убрался домой.

Штабная оперативность этого «доложу», смелость не скрывать поступок ещё больше вознесли в моих глазах Мишку, и я ждал, пока он разделается с докладом и вернётся доигрывать.

Мишка так и не пришёл, а я томился, пока не воротилась тётя Ксеня – с сумочкой, в очочках и рыжем пальтишке. «А Мишка Кузнецов окно разбил», – сказал я, независимо прогуливаясь.

Понимая, что дело наше общее, я всё ждал расплаты. Вечером, когда я был дома, со стороны терраски раздался скучный и размеренный звук ножовки. Я замер, не доходя окошка:

дядя Гриша, согнувшись, пилил фанерку. Допилив, он вставил её на место выбитого стекла и аккуратно закрепил гвоздочками.

В комнату вошла бабушка. Я прижался к бабушке:

– Бабушка, не сердись. Я не буду…

– Что не будешь?

– Кидаться.

– Почему не будешь?

– Потому что кидаться плохо.

– А ещё что плохо?

– Не зна-а-аю… – канючу.

– На Мишку ябедничать. Вот что.

Потом пошёл снег.

Потом дядя Гриша заболел и умер, его несли мимо моего окна. Не то на рассвете, не то в скрипучих зимних сумерках, не то сумрак тёмно-сине стоял в смятенной моей душе. Свернувшись комочком, глядела она в синее оконце, а само оконце сжалось до форточки, до зрачка-хрусталика, и ещё резче выступили в нём чёрные фигуры и то горизонтальное, что они несли.

Больше ничего не помню о дяде Грише. Если тётю Ксеню хоть как-то представляю с её глазами в очочках, с воробышковым видом и авоськой морковки, то что могу сказать о нём? Какую птицу он напоминал рядом с ней? Возможно, маленького грача в чёрной кепке. И очень походил на мужичков, просивших стаканчик. Такой же невысокий, будто ужавшийся окопно – в сине-глаженом пиджачке ли, драповом пальтишке с проступившей ёлочкой, в чёрно-серой измызганной робе… Несгибаемый гвоздок под шляпкою-кепкой. Сколько их тогда во дворах было, при лопате, молотке, ножовке…

Как ни силюсь, не вспомнить лица. Не то детский взгляд не добивал до второстепенных героев моей жизни, не то настолько размыто обобщён его лик, что и доселе множится в глазах послевоенный измученный мужичок.

Кто на вставке?

1

Раз Мишка затеял, будто мы моряки и должны уйти на Северный полюс. Я загорелся, представил льды, пароход со снастями и даже сказал слово «такелаж». Но Мишка решает пойти один. Мишку я люблю и, не скандаля, остаюсь на берегу.

Корабль отходит… Бабушка рассказывала, что моряки говорят «Мурма́нск» и «компа́с», и я кричу: «Компа́с взя-я-я-ял?» Мишка орёт: «Взя-я-ял!» И вдруг смотрит на меня вопросительно, с недоумением. И подостанавливает игру:

– Давай волнуйся!

– Как волнуйся?

– Ну так! За меня волнуйся.

Я, конечно же, сразу представил это «волнование», которое связано с морем и с синей, частой волной. Поэтому оно и выглядит как уподобление качке – качание направо-налево головой, или, как говорит бабушка, головизной. Головизна участвует мягко и расслабленно, почти болтается.

Я это чувствую, но опасаюсь, что Мишка не поймёт, за дурака примет и за маленького. Вместо того, чтобы волноваться, как велит сердце, начинаю причитать: «Ой, да что же это такое? Ой, да как же ты там сможешь один-одинёшенек!» Мишка раздражённо обрывает:

– Да ты не так волнуешься!

– А как? – недоумеваю я и холодею…

– Да ты что, не знаешь, что ли? – возмущается Мишка. – Вот так!

И начинает болтать головизной…

2

Ещё, бывало, приходили с других дворов ребятишки и строили с нами крепости. Я в своей засяду, снежков наготовлю. Играем, кидаемся, и уже синеет и вечер… И вдруг в какой-то неведомый момент притихнут, отодвинутся детские крики, городской шум, и только колкая звёздочка над лепной стенкой крепости дрогнет и словно поплывёт куда-то… А потом замрёт, чудно приблизившись, и – уже словно целую вечность перелистнуло, промакнуло оцепенелыми веками… И ощущение: что всплыл из глубокого сна и не можешь понять, где ты и кто ты? И кажется, уж была такая вселенская заминка и такой же сырой жар под съехавшей шапкой…

Это ощущение у меня называлось: «Мне кажется, что я – не я». Тихое чувство, а столько в него вмещается: почему моя душа всунута именно в меня и почему я зародился на этой улице, в этом городе, на этой планете. И что вообще такое – моё *я*? Кто меня в меня вставил? И кто… на вставке?

Ручка двери

1

Бабушка Вера была полная, несбитая, крупная и, если взять главное слово, – мягкая. И выражение лица мягкое, и тело в байковом халате, и сам халат безвольно-мягкий на ощупь – бежевый с какими-то не то фасолинами, не то инфузориями.

Сидит на истёртом диване: перед ней палка, одна рука держит рукоятку, другая трёт руку, оглаживает втирающим движением. Бабушка Мария Ивановна раздражается: «Мама, ну что ты всё трёшь?! Перкрати!» «Перкрати» – именно так мне слышится.

Что она приходится Бабушке Вере дочерью, я не понимаю. Слишком сложно – двое пожилых людей, и оба настолько разные и так непосильно уходят вдаль своими жизнями, что постичь ещё и их взаиморасположение не под силу.

Когда полвека спустя я увидел Бабушки-Верину фотографию – коричневую, перечёркнутую складкой, как молнией, – то мне будто глаза вскрыло. Накатило далёким, каждодневным, прикипелым, связанным с тем трудным, что несёт в себе человек и что выражает его лицо, и особенно глаза. Глаза были большие и грустные. И в складке рта упрёк.

Бабушка Вера всё забывает. Родственница привезла из Малоярославца бочонок с огурцами. Огурцы кончились, и Бабушка Вера продала бочонок соседке. Та вынесла его к нам под окна распарить: положила можжевеловый веник, залила кипятком, а потом, когда забух, опростала и оставила сохнуть. Бабушка Вера забыла, что он уже не наш, да и прибрала. А когда пришла соседка – заплакала от стыда.

Я застал Бабушку Веру, когда глаза её совсем ослабли, и один пришлось удалить: как в мороке, помню – ездили с мамой в больницу на операцию. И пронзающее ощущение, что Бабушку Веру – еле ходящую, грузную, с палочкой – повезли на что-то кровавое, где боль и блестящее лезвие.

После операции у Бабушки Веры появилось вставное око. Маленькое, как фасолина, вогнуто-выгнутое – тусклая раковинка. Она его вынимала из-под века, и там зияло красно и страшно, а глаз жалко лежал на столе на блюдечке.

То ли я не слушал, то ли Бабушка Вера мало говорила, но рассказов её не помню. Помню отдельные выражения.

«Бывало…», а дальше что-то про Николая Матвеевича, её второго мужа. «Кадетский корпус» – там учился её отец Николай Васильевич Дубасов. «Подрубила» – подшила себе халат или сарафан бабушке. «Раненый маркитант» – уже обо мне, когда поранюсь и забинтуют палец.

Сижу за столом и мажу по тарелке манную кашу, в ней тает сливочное масло, и мне кажется, топлёное солнце проливается сквозь манное облако. Бабушка Мария Ивановна внимательно смотрит, и, когда загружаю кашу, её рот повторяет движение моего рта. А Бабушка Вера увещевает: ну, давай, «ложка за ложкой», «ложка за ложкой». Что-то невыносимо эпическое в этой «ложка за ложкой» – как детская серия «Книга за книгой».

«Смеётся во всю пасточку». «Белеет парус одинокой». «Инфаркт – трещина в сердце». «Лещ костист». «Я памятник себе воздвиг нерукотворной». «Четверьг». «По улицам слона водили». «Помолилась».

Молилась Бабушка Вера каждое утро и вечер, а в особых случаях и днём. В её углу за зеркальным старинным шкафом висели иконы. Среди них была та, которой родители благословили Веру на брак. Знамение Пресвятой Богородицы – младенец по центру.

Когда-то её родители сидели на берегу Оки неподалёку от своего имения в Лихвинском уезде Калужской губернии. Из каких времён-верховьев… – а плыла по реке икона. Её выловили, и была она настолько стара, истёрта и измыта, что ничего нельзя было на ней разобрать. По просьбе Вериной матери московским мастером икона была перекрыта Знамением Богородицы и забрана в оклад.

Бабушка Вера вставала рано, молилась, заправляла постель, причёсывалась. Жила своим порядком, подрубала себя, как сарафан, заправляла, как кровать, заботливо, хозяйски-твёрдо, кротко. И так же кротко и образцово отчитывается: «Сходила в церьковь», «Слава Богу», «Бох»…

А я представлял, как на облаке сидит невысокий лысый старичок с белой круговой бородкой и добро морщится лицом, а однажды, придя из школы и канонически швырнув ранец, заявил: «А Бога нет!»

А Бабушка Вера рассказала такую историю: «Приходит к отцу Владимиру майор Петуховский, зубоскал такой: «Батюшка, отчего митрополит, а не митростреляет?» – «А оттого же, сын мой, что ты дурак, а не дурыба»…

Ещё я мучил Бабушку Веру *дверью* в наши комнаты из общей кухни – в квартире жили ещё две семьи. В кухне была оббитая эмалированная раковина и латунный кран. Наша дверь была точно напротив крана.

Стою мою руки под злющим краном и вдруг слышу за нашей дверью шарканье, стук резиновой набалдашки. Бросаюсь и, схватив ручку, держу дверь. Бабушка Вера не понимает, что происходит, всё сильней тянет, силится открыть. Бывало, тянет одной рукой, а другой держит палку, или палку отставляет и тянет двумя, и я слышу, как палка падает. Натяну, чтобы Бабушка посильней упёрлась, взвисла всем телом… И отпускаю. Слышу, как она веерно пятится, её топот, грохот палки, оханье, а бывало и паденье.

Под конец жизни у Бабушки Веры открылась тяга к странничеству. Много гуляла, говорила, что хочет в дом инвалидов, просила милостыню на улице и покупала в магазине «Напротив» рассыпные леденечики, которые складывала в железную коробочку. Я её, полуслепую, пугал – соберётся сесть на диван, тотчас подбегу и лягу, подсунусь под неё, садящуюся. Она вскрикнет – а я смеюсь «во всю пасточку»! Она охает и тут же угощает цветными леденечиками: «Бери монпансье».

2

Как-то пошли с бабушкой Марией Ивановной гулять на Ленинский скверик. Идти далеко, и меня одного не пускают, я мал и мне не запомнить дороги. Вот мы и в скверике, в зимней недвижности ёлочек, фонарей, дорожек с ледяными полосками, похожих на вмороженные ножи. Вот деревянная горка, а вдали, в глубине за ёлками, – жёлто-зеленоватая сумрачная стенка, за которой тоже будто деревья и тайна, от которой сосёт под ложечкой и мерещится лес среди города, да странный туман с нездешней подсветкой. Стенка эта мне сто раз снилась, и когда я вижу её сквозь ёлочки, она словно предупреждает: приблизишься – заворожу…

Скверик непривычно пустынен в этот день с мягким морозцем, только гуляет с мамой мальчишка возрастом младше меня и чуть малахольный, Андрюша или Алёша. Лицо у него белое в синеву. Он из наших дворов. Разговорчивый и какой-то книжный – раз стоял, выкрикивал, вылаивал, как в фильме, захлёбываясь: «Там, там! Где играли большие мальчишки!» И так ударяя и на «большие», и на «мальчишки», что всем немного неловко. Рядом мама – вечно над ним склонённая большая женщина с мягким лицом.

Я заставляю Алёшу играть со мной в прятки. Невозможно хочется игры, я готов на любые поблажки Алёше и даже считаю так, чтоб во́да *мне* выпала: в словах «всё равно тебе водить» «дить» разбиваю пополам, и отрубленное «ть» приходится на меня. Отводив, оттарабаниваю набор присказок, включая «последнюю курицу», которая невозможно смешно «жмурится», и мгновенно нахожу Алёшу – он сидит за ёлочкой и водит палочкой по снегу. Моя очередь прятаться, и я бегу.

Чем ближе зеленоватая стена, тем неотвратимей отдаляется и замирает город. Сажусь за ёлкой, переводя дух, и вдруг на меня как-то особенно задумчиво наваливается тишина: мокрый жар под шерстяной шапкой, съехавшей и оголившей ухо, варежка в царапучих ледяных шариках, я ей шапку поправляю… Рассеянно ложусь в снег на спину и незаметно впадаю в своё извечное «мне кажется, что я не я».

Уже совсем синё вокруг, и я, вздрогнув, встаю, иду и упираюсь в ту самую стену, теперь уже не загадочную, а тёмную и неузнаваемо угрюмую. Бегу в другую сторону, как мне кажется, к керосиновой лавке, и вижу за ёлками огни, яркие, словно протёртые ацетоном, и сияющие незнакомо, холодно и не с той стороны. Наконец выбираюсь к горке, но там никого нет, и меня охватывает двойное отчаяние: что я потерялся и мне всыпят и что мои старания найтись одновременно приближают и всыпку. А ледяное слово «потерялся» я будто хорошо знаю.

Вдоль главной дорожки фонари – огромные тюльпаны с мутными бутонами. Включаются они на самой границе сумерек, долго подрагивают, разгораются малиновыми всполохами и наливаются синевой, которая неряшливо бледнеет к верхушке, а два или три фонаря так и моргают, тлея и тикая.

Жаркий, во льдышках выбираюсь под фонари и вижу идущую навстречу бабушку. Бегу к ней, раскрыв руки и ревя, чувствуя горячую гримасу этого рёва, и как она трясётся отдельно от раскрасневшегося лица, и рёв идёт тоже со стрясом, с подвывкой. Бабушка останавливается под моргающим фонарём, распахнув руки, и я рушусь в них, как в ворота.

Алёша, оказывается, ушёл с мамочкой, и не искав меня. «Ушёл» бабушка сказала с угрозой, мол, даже Алёша малахольный сделал всё вовремя и как положено, из предателя став примером.

Домой я притихше шёл рядом с бабушкой – у неё это называлось «прижав уши». Особенно плотно прижал, когда проходили милицию – тёмно-красный кирпичный домишко с воротами в ёлочку. Милиция была лишь добавкой к тому зияющему чувству, которое меня охватило и не отпускало и от которого не хотелось ни говорить, ни играть, а уж о гулянии и думать было страшно. Так же, как и о выражении загадочной сдержанности, которое бывало у

мамы, когда я что-нибудь натворил. И которое меня ожидало после рассказа о моей пропаже – родители жили через город в Марьиной Роще, но мама время от времени работала неподалёку от нас и к нам приходила.

Я понимал, что если бабушка всё выразила своим молчанием, то от мамы всё равно достанется, и что лишь Бабушка Вера ничего не скажет, а погладит меня и угостит «монпансьешками».

Так, в оцепенении, я и добрёл до дому под боком у молчащей бабушки и вдруг обнаружил, что это оцепенение от меня не зависит и само по себе распространется вокруг. Странная пустота обступила, едва я вошёл вслед за бабушкой за наш порог. Бабушка уже, видимо, рассказала о моём подвиге, по крайней мере, я отчётливо слышал её: «Час от часу не легче». А мама держала в руках пальто, а на лице вместо загадочности стояло выражение смятения и растерянности, и тревожно подрагивал подбородок, готовый перейти в состояние абрикосовой косточки. В комнате всё было как обычно – зеркало с завитушками, Бабушки-Верин диван, овальный стол, но чего-то катастрофически не хватало и было непривычно тихо. Я бросился в другую комнату – к Бабушке Вере… Но и там её не оказалось!

Бабушка Вера потерялась. Перед работой мама зашла к нам на Щипок, сварила суп и ждала её с прогулки. Та не возвращалась. Обежав магазин и дворы, мама пошла в красно-кирпичную милицию. Оказалось, что да, приходила старушка с палочкой, сказала, что потерялась, что бездомная и хочет в дом инвалидов. Её отправили в детскую комнату милиции, именно в ту самую Марьину Рощу, откуда мама приехала.

Когда мы вошли, мама собиралась… Пытаясь укрыться сам от себя за новое событие, я заканючил: «Я с тобой!» И мы поехали.

В отделении стоял крепкий запах сапожной кожи и табака, и сидела Бабушка Вера с палочкой, в чёрном драповом пальто, с недвижным искусственным глазом. Покачиваясь, постукивая палкой – руки на рукоятке, одна трёт другую. Мама бросилась: «Бабушка, ну что же ты?» Встала вдруг на колени и обняла её. Та охнула: «Мариночка!» – и заплакала. Я никогда не видел плачущую Бабушку Веру и не знал, что её мёртвый глаз тоже плачет, как живой, а он плакал, и слёзы текли полноводно и поровну. Мама вытирала их платком и тоже плакала: «Бабушка, ну как же ты… ушла от нас?» – «Ну так вот взяла… и пошла, пошла, пошла»…

Дома Бабушка Вера сделалась особенно тихой. Перед сном меня отправили мыть руки. Едва намылив их, я услышал за дверью знакомый шебарток – Бабушка Вера нашаривала потустороннюю рукоять. Я бросился к двери и мыльными руками вцепился в латунную ручку. Упёрся, чуть дал слабины, подсёк Бабушку Веру и ждал, пока она повиснет всей неуклюжей своей тяжестью. Натянув дверь, как тетиву, отпустил, и Бабушка Вера рухнула. К её причитанию примешался металлически гулкий звук. Она несла ночной горшок в уборную.

Если представить рай и ад в самом детском виде, то вижу его в виде двух смежных помещений. Между ними дверь с затёртой ручкой. Я вишу на ней и кричу: «Бога нет!», а Бабушка Вера силится открыть дверь:

– Бох есть!

Котлетка

Ходовыми словами бабушки Марии Ивановны были «не глупи» и «прекрати», произносимое как «перкрати». Я не «перкращал» и глупил, и тогда рот её обретал холодное, отрезающее выражение: сжатые губы и углы рта – вниз. Мне так только виделось: и если что и было – лишь намёк на неприступную складку рта, в которой мне виделось чужое, капризное. «Бабушка, ну, не сердись», – повторял я несколько раз, пока она не говорила: «Ну как же мне не сердиться…», означающее, что оттаяла, и дальше шло на тепло: «Ну, как же мне не сердиться, если ты не слушаешься… если ты делаешь то-то и то-то»…

Из всех на меня управ самой страшной была жалкая. Наподобие Захаровых «жалких слов» из «Обломова», которого бабушка мне читала классе во втором-третьем. «Что-то у Илюшечки сегодня глазки нехорошие, не поедем мы к этому немцу», – так запомнил я гончаровские слова: «Что-то у тебя глаза несвежи сегодня… Посиди-ка недельку дома». Я всё путал, переплавлял на свой лад уже в самый момент запоминания.

Суть же жалкой управы состояла в том, что когда-то, на самой заре нашей с бабушкой дружбы, была у неё ко мне большущая любовь. И любовь-то эта напоминала дорогу, реку ли, полноводную, толстющую и счастливую. Или даже канат, который по мере моих безобразий истоньшался, и вот теперь, после заключительной выходки, обратился в тоненькую ниточку… И ниточка при определённом огорчении бабушки может в один прекрасный день оборваться. Тончание нитки и её обрыв были невыносимы, и мне самому становилось настолько и нитку, и себя, и бабушку жалко, что я готов был разреветься и наверняка ревел не раз, прося спасти ниточку, обещая, что так больше не буду, и городя прочее, всем известное и невыполнимое…

Дело касалось не только моего послушания-непослушания или порчи игрушек и книг, а более тонких и глубоких вещей, касающихся душевного такта. Их суть – история «Котлетка». Бабушка рассказывает, как маленькая сидит за столом, а на ужин блинчики с творогом. Я настолько мрею в своём ведёном детском окоёме, что блинчики с творогом превращаются в котлетку с картошкой. Бабушка откладывает котлетку на край, а сидящий рядом отчим Николай Матвеич обращается в бабушкиного папу Иван Иваныча, который подкрадывается сзади и с криком: «Эх, Маруська, самого вкусного ты и не ешь!» – соколом хватает котлетку. На самом же деле никто не пикировал, а Николай Матвеич просто сидел рядом и забрал творожок… Маленькая бабушка еле сдерживает слёзы, но виду не подаёт.

– Я ничего не сказала.

– Бабушка, а почему ты не сказала?

– Потому, что он бы расстроился.

Почему творог превратился в котлетку, сложно сказать, зато точно знаю, почему появился вместо Николая Матвеича бабушкин отец Иван Иваныч: чтобы навести порядок в бабушкином детстве, убрать его противоестественное расслоение на отца и отчима.

На границе

Бабушка была курильщицей, хотел сказать – страстной, а правильнее – обречённой. Курила только папиросы и только «Север» и «Прибой» и терпеть не могла сигареты, воспринимая их как нечто едкое и вредное, после чего «в доме воняет табачищем», и, конечно, недопустимо-нынешнее и холодное, навроде фонарного неона. Курила: держала папиросу, как в развилке, указательным и средним пальцами. Затянется, развилку с папиросой отведёт от лица и, подняв подбородок, длинно и пространно выдыхнет.

Спички у бабушки всегда под рукой. Тушит плавным зигзагом – о воздух и никогда не задувает.

Паре «папиросы – сигареты» противостояли у бабушки чай с кофием. Насколько любила чай, настолько не принимала кофий.

Не любила автобусы – «воняют» бензином, и признавала троллейбусы, словно электрическое, природно-небесное было стерильней и праведней. А автобусы выбрасывали синий дым, и это роднило их с сигаретами. Я же больше любил автобусы – троллейбусы так щёлкали и рвали с места, что меня однажды не в шутку замутило, и бабушка попросила водителя нас выпустить.

Однажды шли по улице, и проезжал троллейбус. Вдруг у него сыпуче заискрило меж проводом и кулаком удочки. Удочка, тяжко изогнувшись, бухнулась, как оглобля. Водительша в лиловом халате долго с ней возилась, нацеливала на провод толстенным канатом. Было нечто

старинное, вожжевое, кучерское в этом занятии, и толстенный аркан никак не вязался со всем нынешним электрическим.

В троллейбусе бабушка садилась только «по ходу» – если спиной, то её мутило. Метро признавала неглубокое, где нет «лестницы» – эскалатора, на котором тоже мутит.

Терпеть не могла английский язык – холодный, «одно мяуканье». Немцы у неё «лаяли». По сословно-литературной привычке она благоволила лишь французскому. Особо его не знала, но меня приобщала и возила к учительнице. Однажды я увидел в журнале «Крокодил» карикатуру: два злющих длинноносых дядьки в шляпах пытаются запрыгнуть на милую беловолосую женщину в синем костюме. Называлось: «Англия с Германией насели на Францию». Я был за Францию.

Всё так и шло парами: чай – кофе, папиросы – сигареты, троллейбусы – автобусы, Франция – Англия. И до бесконечности. В деревне: керосинка – керогаз. Керосинка, конечно же, бабушкина помощница, а керогаз – злобный вражина, дорогой и вдобавок взрывается.

Москву любила, но если выбирать меж городом и деревней, то, конечно, деревня. С речкой и лесом, полным зверья и птиц. До сих пор не знаю точно, сам ли полюбил природу или бабушка наладила. Скорее всего, совпало: и моё восхищение хищными птицами, грозным их видом, и бабушкин лесной настрой, рассказы об охотничьих собаках её отчима, о видах дичи – боровой, красной. Книги, которые сама читала или давала читать, походы в зоопарк и в зоомузей. И слова: «когда вырастешь, будешь жить в лесу». «Женишься на якутке, и она нарожает тебе якутят» (сдержанный смешочек). «Будешь жить где-нибудь в заповеднике». Заповедник. Заповедное – незаповедное… Снова пара.

В том же противоборстве: книги и телевизор с кинематографом. Мы жили без телевизора, и, хотя внешне это объяснялось нашей бедностью, главное таилось в бабушке. Она понимала, что книга – свидетельство многовековое, а кинематографу без году неделя и полон он суетных представлений нынешних режиссёров. Поэтому для воспитания негоден. Хотя картина картине рознь. (Бабушка никогда не говорила «фильм» – только «картина».) В качестве исключения некоторые из картин тоже «были хорошими», например, «Путёвка в жизнь» и «Пятнадцатилетний капитан». Город же пестрел цветастыми афишами: «Золотой телёнок» и ещё что-то подобное. Даже без бабушкиных поправок мне чуялась в таком названии пошлинка, претензия на остроумие.

Для пошлости и безвкусицы у бабушки было одно слово – «вырви глаз», с кислятиной никак не связанное. Приходим в магазин. За прилавком молодая тётя с тыквой волос в сетке, яркой краской на рту и огромными малиновыми стекляшками в ушах – «классический вырви глаз».

Если представить бабушку на границе фронтов, то по нашу сторону кипятили воду на керосинке и пили чай, курили папиросы, ездили на троллейбусе и читали книги. На вражьей нюхали бензин в автобусах, пили кофе, сине чадили сигаретами и в этом же дыму смотрели телевизор.

При всей нелюбви к телевидению утверждала, будто у неё внутри маленький телевизор, по которому она отслеживает мои безобразия на любом рассто не приемлющая современного, сдаёт позиции. Допытывался, янии. Меня подкупало, что бабушка, что за телевизор, и представлял маленький экранчик, как у дяди Гриши. Про телевизор бабушка говорила с брезжинкой улыбки, и наслаждением был не поиск правды, а замирание на границе: по правде есть экран или дурит.

Ещё чай пила постоянно, и был он и ритуалом, и способом общения, а иногда и выходом: «будем тупо пить чай».

К чаю и меня приучала, не разрешая в жару пить воду: «Никогда не напьёшься. Суворов так солдат учил».

Чай пили всё время. Конфет у нас особо не водилось, ели варенья или изредка мармелад. Я очень любил чай с яблочным мармеладом – мутным, с белесыми затуманенными углами. Мармеладины были двух пород – овальные и квадратные, с рисунком, как от песочной формочки – лепестки веером… Потом появились химически яркие и в шифер волнистые: малиново-зелёные с белой прослойкой. Бабушка их не признавала: «Эссенция!» – «Что за исенцыя?» – «Эссенция!» – и весь сказ. И всё вспоминала белёвскую полосатую пастилу, которую помнила по родовой Калужской области – Белёв был по соседству, в Тульской. Полосатая эта пастила меня очень волновала, и я представлял мармеладно-прозрачный ковёр с белыми полосками. И как вырезаю из него подходящий клин. А ковёр огромный, бескрайний и родня кисельным берегам…

Чай бабушка пила только индийский – «со слоном» или в маленькой красно-зелёной пачке – грузинский не признавала.

Пила только из чашек с блюдцем и любила показывать, как купец пьёт: сидит в открытом окне и дует в блюдце. Величественно и немножко с улыбкой. Была у неё такая улыбка – будто из сторонки на себя смотрит… Расправляла кисть и держала блюдце исподнизу, безымянный палец согнут и упирается в блюдце суставом, как коленкой. Блюдце обязательно либо с каёмочкой золотца, либо рельефное, с чернильно-синим размытым рисунком. В блюдце прозрачный рыжий чай и волны – бабушка дует, и похоже на море из сказки… Сквозь рябь сине просвечивают узоры, травы, лебеди. Мне тоже казалось важным пить, как купцы, и я собирался всегда так чаевать.

Стыдобушка

1

За три дня до моего восьмилетия умерла Бабушка Вера. Дикое в этом глаголе услышалось сразу. Когда убили на войне – кто-то убил. А когда «умерла» – будто сама решила.

Помню тёмное утро, завешенное простынёй зеркало старинного дубасовского шкафа с овальным верхом и резными завитушками. К завитушкам прицеплена простыня, в которую упирается взгляд, привыкший к продленью объёма. Почему завесили зеркало? Так положено. Наверное, чтобы не блестело… не мешало скорби… Но всё равно чересчур странно, старинно. И взрослые так послушно выполняют правило, что ещё пронзительней от этой послушности, растерянности, словно и они пред смертью как дети.

Притушенность, чёрно-белость, полумрак – и окрестный, и душевный. Он поглощает, наступает на мой мир радости и игры. И всё внутри протестует, но потихоньку сдаётся, и в меня входит сумрак, скорбь, и я тише становлюсь и чутче…

Бабушка везёт меня к Крупиным.

2

Крупины – наши родственники по линии бабушкиного брата, дяди Володи. Они живут в Солнечногорске, на станции Подсолнечная. Солнечногорск видится ярким, круглым, как солнце. Подсолнечная же растекается постным маслом, жёлтым солнышком, пролитым сквозь облачка. А «постное» кажется сокращением от «подсолнечного». Слово «пост» мне неведомо, хоть бабушка и объясняла, но я забыл. Я всё забываю.

В Солнечногорске на меня острейшее впечатление произвела Ирочка Вишнякова, дяди-Володина дочка. Ирочка была меня старше всего года на два, но приходилась тётей, и это обсуждалось как парадокс и добавляло остроты.

Впервые Ирочку я увидел, зайдя в ванную: высокий потолок, соединения, патрубки, газовый котёл, и Ирочка, стройненькая в чёрном всём, обтяжно́м – рейтузах, майке, где-то сверху стоит цирково́, перелезает по каким-то трубам. И ротик трубочкой – будто насвистывает. И вся эта верхотура домашняя – её царство, она здесь, как в лесу родном, и обидно, ревниво за это родство.

Ирочка серо-синеглазая. Треугольное личико. Глаза широко расставлены. К Ирочке я испытываю какую-то естественную тягу. Этой естественности я не перечу, но и не страдаю от неё. Не сохну.

Иван Николаич Крупин, хозяин, – главный врач больницы. Живёт в пристроенном к ней доме с террасой. Из классических хирургов. Мощный, с крепкой головой, с басовитым в трещинку голосом. Когда он умер, перекрыли Ленинградское шоссе – город вышел хоронить. Перекрывали его дважды, второй раз – когда умер Брежнев.

Бабушка: «Иван Николаич строгий, смотри». От меня он – будто через прослойку, приёмный покой, словно его мне вдали коридора являют, чтобы не подавить окончательно… Я и смотрю из полумрака гостиной… Просторной, где огромная ёлка с малиновыми шарами, особенными, как и всё в этом доме, – собранные в великолепные гроздья, они горят торжествуще-сдержанно.

Жена Ивана Николаича, Фелицата Евгеньевна, – микробиолог и работает заведующей лабораторией больницы, а в 30-х годах ездила по лесам-болотам и боролась с малярией.

Покоем и ровным сияньем породы пёрло от этих людей, от странноприимного их дома, и неудивительно, что именно здесь и ждали меня самые испытания. Именно здесь рушились все возводимые во мне бабушкой правила обращения с людьми, и я, в десятый раз припозорясь, клялся исправиться и собирал целый список стыдных проделок, или «стыдобушек», как говорила бабушка. По какому-то щедрому правилу выпадали мне у Крупиных и награды – то доброе слово Фелицаты Евгеньевны, то книга, на долгие годы определившая дорогу.

3

Мы приехали с бабушкой к Крупиным. Я смутно чуял, что без меня взрослым проще хоронить Бабушку Веру, что меня берегут от похорон, потому и привезли сюда. Меня действительно очень аккуратно обвели вокруг этой смерти, и я не попрощался с Бабушкой Верой, не видел, как она лежит, и самого главного, страшного не коснулся.

Но до чего странно совместилась смерть Бабушки Веры с гостеванием в крупинском доме, где я всегда замирал в восхищеньи – его объёмами, гулкой наполненностью сложными силами, от которых меня ещё неизбывней охватывало чувством моей ведомости, медлительности происходящего и вечного моего отставания, словно я погружён в какую-то вязкую и очарованную туманность.

У Крупиных гости, какие-то дети, и они гуляют, а мы сидим с Фелицатой Евгеньевной и бабушкой за огромным столом. На столе хрустальные вазочки с вареньями и с ситечком заварочный чайник.

Идёт взрослый разговор. Пробую варенья из вазочек, малиновое, черничное, сливовое, и крупинский крыжовник, мутные в полосочку шарики, словно подсвеченные изнутри. Всё до того замечательно, что я зачем-то говорю Фелицате Евгеньевне: «А это какой у вас чай?» Словно мне мало черники да крыжовника. «Грузинский», – отвечает Фелицата Евгеньевна охотно. Мол, хотите с подробностями, с сортами – пожалуйста, давайте знатоками побудем.

– А мы с бабушкой индийский любим!

Говорю я и даже оборачиваюсь к бабушке: мол, «Да ведь, бабушк? Что, отстоял наше?»

– А у меня грузинский, – разочарованно и виновато повторяет Фелицата Евгеньева.

Сознание, что сморозил, пришло, едва открыл рот, едва вывез: «А мы…» Бабушка пытается выправить картину, «ну нет, грузинский *тоже* хороший». Это лишь гробит дело, подтверждает недосягаемость индийского. Горю от стыда уже за бабушкину попытку спасти положение. Подвёл дважды: ляпнул бестактность и заставил оправдываться. Стыдобушка… Буду внимательным теперь. Обязательно буду внимательным!

С наказом вести себя «прилично» бабушка оставляет меня у Крупиных и уезжает в Москву хоронить Бабушку Веру. В доме кроме Ирочки ещё два мальчика, Дима и Андрей. Чьи они, понять я не в силах: дяди, тёти, племянники размываются, как ряды комнат крупинского дома, как строй дверных проёмов с туманчиком в самом далёком. Именно в нём Ирочка как-то тягуче, висяче протянулась вдоль косяка и поманила меня рукой: «Иди, я тебе что-то скажу». Я, млея, подошёл, и она приобняла меня, так что от неё чудно нанесло молочком, и сказала негромко, но твёрдо: «У Андрея мама умерла, будь с ним повежливей».

Из этих двух мальчиков, Димы и Андрея, Диму я не помню вовсе – кто-то с расплывчатым лицом и поменьше ростом. Андрей же, наоборот, ясно видится. Он старше меня и интересный – прямое лицо, щёки в рельефную впадину, тёмно-русые волосы, чёлка торчащая, весь и осанистый, и стройный. Видный, одно слово. И кто он Ирочке – двоюродный или обычный брат, не важно, а важно, что он ей нравится. Говорит немного, больше наблюдает, и ясно, что главный.

Спать меня положили в гостиной на диване – в детской всё было занято. Проснувшись, я долго не мог понять, где я, что это за синеющее окно и почему так монументально и недвижно проступают в полутьме буфет и огромный стол… Меня качнуло, как в зыбке, и некоторое время вело по кругу, пока, поймавшись за рассветные окна, я не понял, что это гостиная Фелицаты Евгеньевны.

Тихо, сумрачно было в просторной этой квартире. День разгорался заоконною синью, и я не мог лежать и, встав, долго слонялся по комнатам, пока не вышел на холод в терраску. За окнами белел первый снежок, сквозисто чернела голая яблоня, и сквозь стёкла было слышно, как свистит снегирь – потусторонне и вольно. Припорошенные чёрно-белые репейники стояли оцепенело и задумчиво. Поначалу я взглянул на них вскользь, но, когда задержал взгляд, на них цветной завязью пошевелились щеглы. В окрасе их настолько фантастически сочетались цвета – красный, белый, жёлтый, чёрный и какой-то удивительный рыжевато-коричневый, что я долго смотрел, как они лазят по стволикам, перепархивая и стрясая снежок.

В гостиной я встретил Фелицату Евгеньевну, пришедшую из магазина и разбирающую сумку. Я рассказал про снегиря и щеглов, а она, зная мою любовь к птицам, подвела к дальнему окну, за которым висела кормушка и на ниточке с сальцем качалась вверх ногами синичка.

Насмотревшись на синиц, я попытался читать привезённую с собой книгу «На родине птиц». Я взял её в школе, думая, что она про моих любимых пернатых, но там повествовалось о взрослой поездке на Север, и мне сделалось неинтересно и досадно, словно меня обманули. И я снова начал томиться. Все ещё спали, и глупо, нелепо было от своей неприкаянности, от невыносимости этой проволочки, когда из-за нескольких спящих столько жизни перекрыто… Фелицата Евгеньевна тоже будто разделяла моё неодобрение загвоздкой и отправила будить. Я осторожно зашёл в спальню, где словно поляна снежная раскинулась одеялами. У Ирочки был приоткрыт рот и вытянута шея, как у уточки из сказки. Глупым шепотом я просипел: «Вставайте!» – боясь и громко сказать, и наказ не выполнить. Снова хриплю: «Вставайте». «Эй, вставайте». Никто не шелохнётся. Знаю, что нет ничего глупей этого деланного «эй!», но хриплю: «Э-эй!»

Дима спит, отвернувшись к стенке, лица не видно… Андрей лежит на спине, откинув руку, чёлка на бровях и тень на закрытых глазах… Я ещё сильнее вязну и, еле выбравшись, докладываю Фелицате Евгеньевне: «Не хотят».

Столько сил ушло на то утро, что день не помню. Зато вечер, как на ладони. Уже сумерки, и меня зовут смотреть телевизор в отдельную проходную комнату. Бабушки нет, но я понимаю, что втравливаюсь во что-то взрослое и не очень пригожее. Смотрю со всеми какую-то детскую историю про мальчика и девочку. Им нужно что-то важное спросить у кого-то загадочного, кто живёт в «домике на горке». И там ещё мальчик, который не пошёл в домик, и его назвали «маменькиным сынком». Ничего не понимаю, но Ирочка, и Дима, и Андрей привычно и уверенно смотрят, а потом история кончается, и мы уже просто сидим. И я оказываюсь в серёдке, как брошенный в воду камень, только круги не от меня, а ко мне.

Я самый маленький, и все решают меня приголубить, приветить. Ирочка объявляет, что Миша-то у нас, мол, знает по-французски, представляете? И все сразу: «Мишель! Ну, скажи что-нибудь по-французски!» Я скорее провалюсь, чем скажу, потому что слова эти связаны только с бабушкой, с учительницей и с нашей к ней дорогой на трамвае. А кругом настойчиво галдят: «Ну что? Отвечай!» И тут сам Андрей восстаёт из полусумрака и говорит: «А что значит по-французски бонжур?»

И я улыбаюсь и вывожу медленно и безнадёжно: «Это значит, ты маменькин сынок».

Тону́ постепенно и непоправимо, потому что всплывает главное: у Андрея умерла мама. Поэтому он и здесь.

Побрёл я в своём родном оцепенении в гостиную. За столом сидела с чтением в руках Фелицата Евгеньевна. Взглянув на меня поверх очков, она встала с книгой в руке и, отлистнув страницу, прочитала: «…Дорогой Миша! Пусть эта книга поможет тебе получше узнать наших птиц. – И посмотрела в глаза. – Такое вот напутствие…» Это была книга Александра Николаевича Промптова «Птицы в природе» 1957 года. Обложка серая, на ней большой пёстрый дятел, сидящий вертикально на высоком щелястом пне. На титуле лиловая печать: «Из книг Ивана Николаевича Крупина».

«Послушай меня, Миша, – сказала Фелицата Евгеньевна, наливая чай в две большие чашки с блюдцами, – автор этой книги родился с больным позвоночником и остался инвалидом на всю жизнь. Но у него была сильная и пытливая душа. Однажды он принес домой двух чижей, а потом настолько увлёкся птицами, что исходил, изучая их, много лесов. Болезнь не помешала ему стать хорошим учёным, а птицы помогли вырасти человеком с большой буквы. Всегда помни о таких людях, тем более у тебя, Миша, есть всё. – Фелицата Евгеньевна помолчала. – И замечательная бабушка».

Она пододвинула мне вазочку с крыжовником и сказала: «Пробуй чай – это индийский, как ты любишь».

Ещё в Солнечногорске было много зимы, вечеров, огней, мерцающих на морозе протёрто и колко. Морозных иголочек в носу… Кочегарок и запаха угольного дыма.

Идём с Ирочкой мимо каких-то кочегарок, гаражей. Тихо, только лают собаки и задумчиво перемигиваются звёзды. Звёздочка, а перед ней кто-то стеколки меняет: подержит и сменит, подержит и сменит – алмазно-синее, малиновое, зелёное. И из Ленинграда идёт скорый. Гудок электровоза протяжно-напряжённый и с завитком книзу – будто в омуте тонет.

Ёлка

1

Я снова в Замоскворечье. В предновогодние дни взрослые хлопотали по дому, а я занимался двором. Играл под вечер до жаркого пота, до жгуче-шершавой шапочной сырости на лбу. До слюнной брызги жужжал машиной, нарыв в сугробном склоне серпантинов, капониров

для танков, синих отнорков. Норы и тоннели особенно осторожно выбирал ближе к вершине, где вот-вот загорится светлинка в потолке и может просы́паться снег.

Конечно, ничего не успел – побежал домой за Никитками и был схвачен бабушкой. Никитки – близнецы, коричневые резиновые медвежата со свистками. На холоде они деревенели, но от них и не требовалась мягкость – я собирался их поставить на охрану тоннеля, но дело пришлось отложить до завтра. Я еле пережил ночь, поутру быстро съел кашу с рассветным маслом-солнышком и, схватив Никиток, выбежал на улицу.

А там ни следа моей инженерии.

«Чёртов Васька!» Как я ярился, как орал – наверное, самая сильная вспышка за всё детство. Ведь ничего не оставил! Не просто заровнял, а именно порушил, уничтожив и приподножное, равнинное, так сказать, хозяйство. А сугроб ещё выше вывел и аккуратно загладил крахмальное изваяние.

Дядя Вася наш дворник. Внешностью он как дядя Гриша или мужички, что просят стаканчик. Тоже некрупный, не добравший жирка, а в одёже не чёрный, а, включая кепку, коричневый, как лётная вытертая куртка. Если те обобщённые, как путейская бригада, то дядя Вася явный, знакомый. На кого похож? Трудно сказать… Может, на Чапаева, но безусый и ещё более скуластый, со сходом в щёчную впалость. Глаза сильные, большие, и брови, надбровные дуги ярые. И какая-то задиристость, требовательность в лице. Может, и скандальность. А в движениях – развалочка.

Прибирал наш двор, паковал сугробы, и сыпалась синяя крошка по крахмальному боку, и дядя Вася подскребал её, как мучицу, и на сугроб закидывал, и бока гранил, и особенно текучими были именно последние эти струйки, и пустынно подножие сугроба.

Кроме нашего внутреннего двора дядя Вася огребался и на уличной стороне. Часть снега собирал в сугробы в проулке, а часть длинным движением лопаты подавал на дорогу, где её мололи колёса. Дворники были в каждом дворе, и цепочка сугробов тянулась по всему переулку. Их собирала снегоуборочная машина, и я любил на неё смотреть.

Машины эти все называли «автопогрузчиками», а недавно оказалось, что правильное название трудовой этой железяки «лаповый снегопогрузчик С-4». Жаль, что мы с бабушкой не знали тёплого и звериного этого названия. Четырёхколёсный агрегат на основе грузовика с одноместной будочкой, смещённой к боку. И на плече наклонно «балалайка» – жёлоб с лентой, похожий на гриф с ладами. Он ещё и подломлен по корпусу. А сама дека – челюсть-лопата с бортиками. В лопате две локтястые ручищи, крутятся на двух дисках, а диски заподлицо с лопатным дном. Лапы грабастают снег необыкновенно одушевлённо, сзади пятится самосвал, и в кузов с грифа сыпется снег, то кускастый грязный, то, наоборот, чистый до крахмальности. Бабушка терпеливо стоит рядом, а я пожираю глазами погрузчик. Самосвал пятится, то ударяя в погрузчик, то приотставая – ЗИЛ-164, зелёный, но не «болотный», как бабушка называла хаки, а тёмно-зелёный, будто подсинённый. Радиатор у него был укутан стёганой попоной на ремешках.

Завидя погрузчик, я замедлялся, якорно тянул бабушку за руку и вставал, а она ждала, пока насмотрюсь. Очень хорошо помню эту терпеливость – и вынужденную, и признающую важность происходящего. Так ждут, когда ребёнок наестся.

Рука у бабушки худощавая, и я чувствовал её будто древесную силу – и сухую, и тёплую. Рука – вообще витое место, и сучок, и развилка, и точка крепости. В нашем ручном замке вечно шла борьба. Бабушка то поджимала, то приотпускала, а я то вырывался, то пытался в бабушкину ладонь вложиться поудобней. Едва устрою плотвичку ладони и бабушка подладится встречно, найдёт самое ухватистое место, тотчас рыбка извернётся или, сложившись лодочкой, раздаст бабушкину руку и отвоюет свободного хода.

У автопогрузчика я выходил из замка и маячил отдельно.

Снег увозился машинами, и я почему-то думал, что его высыпают за городом. Однажды мы с бабушкой гуляли по набережной между огромным высотным зданием и Москворецким мостом. Дни стояли неморозные, и обвалом шли снегопады. И вода в Москве-реке была чёрная и сизо-пятнистая от шуги.

Вдруг к невысокому каменному парапету, пятясь, подъехал самосвал со снегом. Из кабины, открыв дверь и став на подножку, высунулся водитель и, глядя на кузов, начал его поднимать. Снег поначалу держался, а потом мешаниной кусков и сыпучих прядей ссыпался в воду. Водитель опустил кузов, но ему показалось, что прилипли остатки снега, и он ещё раз откинул его, грохотнув, а потом медленно опуская, отъехал от берега. Пока я, открыв рот, смотрел на него, на набережной появилась вереница одинаковых тёмно-зелёных самосвалов. Друг за другом они пятились и сбрасывали снег с высокого берега. А потом образовалась целая шеренга пятящихся машин, которые почти одновременно остановились у края каменной пропасти и вскинули кузова. Снег могучей лентой сыпался в тёмную реку и оказывался неожиданно плавучим, не пропитывался водой, а только нарастал горами и медленно сплывал по течению. Вместе со снегом из кузова упал камень и плыл черновиной вместе со снежной грядой.

Темнело. Затлев и отдрожав, зажглись синие неоновые фонари, а грузовики всё тянулись по набережной, пятились и, вздымая кузова, сбрасывали груз в речную пропасть. На чёрной воде в сиянии фонарей сыпанина снега ярко светилась рубленым белком.

2

Последний самосвал завершил грозное своё действо, и мы отправились на трамвай. Всё краснее и ярче горели огни на высотном здании со шпилем, чернеющем на фоне подсвеченного неба. Его мглистый силуэт, гнутая линия реки, обросшей домами-утёсами, подчёркивали налитые силой названия: Котельническая набережная, Краснохолмский мост, Большой Каменный. Купола Ивана Великого и Архангельского соборов сияли поразительно зеркально, словно натёртые шлифовальной пастой, зелёной купоросной пылью с чешуи кремлёвских башенок. Внемасштабность циферблата на Спасской, сходство луковок с ёлочными шарами потрясало и обращало город в бескрайнюю детскую. Бабушка сказала, что в войну купола соборов укрывали, чтобы они не светились во время ночных бомбёжек. И мне представились стёганые попоны, вроде тех, которыми укутаны морды у самосвалов.

Предновогодним вечером мы подъехали на троллейбусе к кремлёвским воротам, к Кутафьей башне. Вместе с вереницей детей прошли в Кремль, где бабушка отдала меня устроителям ёлки, на которую у меня был билет. Стоял мороз. Сотни детей, густо дыша паром, столпились вокруг снежной площади с огромной ёлкой. Вышел рослый Дед Мороз в красной шубе и необыкновенно зычно поприветствовал, постучал посохом, а потом заозирался: «Как так – скоро Новый год, а у меня ни мешка, ни котомки. Да-а-а… была у меня волшебная котомка, да вот где она – ума не приложу…» И крикнул: «Ребята, где же котомка?» То ли ему кто-то подсказал из ребятишек, то ли он сам догадался: «У Снегурочки котомка! А где же Снегурочка?» Ну и, конечно, велел её звать. Целая площадь закричала: «Ау, Снегурочка!» – сначала нестройно, а потом слаженно, громко и эхово. Дед Мороз пошёл искать Снегурочку. Рядом с ёлкой стоял снежный домик. Оттуда раздался звонкий крик, и вышла Снегурочка в серебристо-голубой шубке с блестящими звёздами и с волшебной котомкой в руке. В рукавичках, тоже серебристых и в пушистой белой оторочке. Дед Мороз к этому времени незаметно исчез, и теперь вышло, что уже Снегурочка его ищет.

Снегурочка перебегает по снежной площади, озирается, приложив ко лбу козырёк рукавички. Вдруг из снежного домика, вздымая чёрные руки-крылья, вырывается чёрная фигура. Лицо в маске и на голове клюв – это Чёрный Ворон. Самое страшное, что Снегурочка не видит,

как он подкрадывается, чтобы вырвать волшебную котомку. Ворон догоняет её, грозно вскидывая чёрные крылья и страшным охлёстывающим движением собираясь её захватить. Вдруг совсем рядом со мной девочка истошно вскрикивает: «Ворон!» – и я, и кто-то ещё, и все мы вместе подхватываем: «Ворон! Ворон!» Ворон вздрагивает, отшатывается. Снегурочка оборачивается, а Ворон, плавно кренясь, взмахивает крыльями, разворачивается и улетает. Снегурочка мгновенно забывает об опасности, Ворон снова её догоняет, и снова несколько сотен детишек кричат: «Ворон! Ворон!» – и Ворон снова улетает. И на третий круг всё повторяется. Ворон идёт на четвёртый, но появляется Дед Мороз и, грозно вздев посох, прогоняет Ворона.

Уже не помню, каким образом волшебная котомка обратилась в бездонный мешок и всем нам роздали подарки – красные пластмассовые шары на верёвочках – внутри конфеты, игрушки. Но ни конфеты, ни весь остальной праздник не поразил меня так, как наше вмешательство, ощущение единящей силы, которую мы испытали, выкрикивая это отчаянное: «Ворон!» И то, что мы смешали, проломили действие, и в этом прорыве жизненного в сказочное был особый разряд правды.

Когда уезжали с бабушкой на троллейбусе по Большому Каменному мосту, купола сияли таинственно-домашне, давая ощущение вхожести, привычной причастности к этим башенкам и елям. Они были одного с нами поля, не игрушечными, не сказочными, а таким же понятными и равными, как и мы с бабушкой.

Дома было по-праздничному чисто. Блестела шарами ёлка, у подножия под ветками стоял Дед Мороз с шапкой и воротом из белоснежной и будто запёкшейся ваты. Корочка с искоркой была особенно хороша. Засыпая, я видел зубчатые стены и протёртые луковки, и несомненность существования протирающей руки усиливалась с каждой предновогодней минутой. Казалось, именно она сеяла белую пыль над городом и укрывала купола, раскладывала подарки под ёлкой, а синим утром будила скрёбом скребка по льду, мерным звуком лопаты, сгребающим снег под рассветным нашим окном.

Альбастра

1

Кирпичная стена, так называемый брандмауэр, отделяла наш двор от округи. И вот событие. Вид с улицы: пустырь, расчищенный под стройку нового дома в двенадцать этажей. Толпа народу. Около стены экскаватор с гусеницами из тускло-белых пластин. К стреле привязана на тросу блестящая клин-баба, которой он бьёт по стене, в клубах пыли с грохотом рушит, выламывает из стены щербатые глыбы. И при всей законности дела в болтании бабы что-то катастрофически разрушительное и хулиганское.

У стены снесли большую верхнюю часть, и она стала намного ниже, а там, где примыкала к «Гипрожиру», появился седловина-лаз, открывавший путь на Тот Двор, по новые земли.

– Не смей шляться на Тот Двор! – сказала бабушка, выпуская меня из дома.

Перед такими походами хоть на парад, хоть в музей, я должен был благопристойно прогуливаться, пока бабушка собиралась, настраивалась, а возможно, и пила чай. Я же стремился на Тот Двор, где шла стройка и каждый день появлялось что-нибудь драгоценное.

Был цементный раствор, который мы называли «альбастрой». На кирпич наносился шлепок альбастры, приглаживался горкой, в неё втыкалась палочка, и получался танк. Откуда-то взялось ведёрко с солидолом, настолько похожим на повидло, что у нас головы вскружились. Звали мы его «силидол». А как-то раз на повороте из грузовой машины выпала плита парафина – целую неделю мы плавили, топили, и он тёк струйками, подёрнутыми плёночкой сажи.

Или плавили на руки, чтоб получались перчатки. Так и ввалился я к бабушке – в перчатине и с изгвазданным рукавом.

В предыдущий раз бабушка подзадержалась, настраивая душевные струны на поход в консерваторию. Любила ли она музыку, как любят иные, погружённые, одержимые и сыплющие названиями симфоний и ораторий, – не знаю. Знаю точно, что боготворила, как всё классическое.

Я времени не терял и, перемахнув в проём на Тот Двор, обнаружил там Мишку Кузнецова и компанию «коло» бочки со свежайшим столярным клеем. Похож он был на «силидол», такой же добротный и зовущий к употреблению. До сих пор помню своё бессилие – вижу великолепие материала, понимаю, что пропадёт, и не знаю, куда приткнуть, – хоть ешь.

Выскочил я в единственном «приличном» кительке с большими боковыми карманами, куда бабушка всегда совала носовой платок. Швыркал я без конца, и она говорила: «Выбей нос». Надыбав драгоценную бочку, я, зачерпнув пятернёй клея, засунул его в карман. Клей оказался тягуч и тошнотворно запашист. После я удовлетворённо вернулся на наш двор и ждал бабушку.

Наконец она вышла в чёрном пальто, в чёрно-синем берете с червячком и с «дамской сумочкой» под мышкой. Дамская сумочка – потёртый предмет с металлическим замком-двухлапкой и ремешком, который бабушка складывала на верху сумки, как кнут. Бабушка называла сумку именно «дамской», хотя дамство ей претило и никак не пересекалось с «Севером» и «Прибоем». Вид у бабушки был недовольный: в руках она держала забытое мной пальтишко.

В консерваторию у нас имелся абонемент, и мы туда ходили каждые выходные. В тот раз давали Сороковую симфонию Моцарта. Консерватория объёмно и гулко отзывалась на шорохи, шарканья, голоса. Иконостасно и трубчато сиял орган во всю стену, глядели портреты композиторов со стен, недовольный Бетховен с копной волос и забулдыжно-невыспатый Мусоргский. Мы сели в кресла. Вышел дирижёр, совершенно непонятная для меня фигура, но с поразительными хвостами фрака, похожими на двух пиявок. Началась музыка, требуя от меня немыслимого напряжения, входя трудно, волнами – то ложась на душу, то отдаляясь и предавая посторонним мыслям. Помню, я светлел сердцем от звучания струнного оркестра, чистого, небесно высокого и похожего порыв ветра, склоняющий берёзы… Рояль же со светскими россыпями и капелью наводил тоску…

На волне очередного приближения симфонического смятения в берёзах бабушка спросила громким шёпотом: «Почему так воняет?» Я швыркнул носом и попытался внюхаться в музыкальные запахи консерватории – бабушка говорила, что смычки мажут канифолью. Бабушка рявкнула шёпотом: «Выбей нос! В кармане, невежа…» Я сунул руку в карман и едва не подскочил, потому что рука влипла во что-то холодное, склизкое, а главное, внезапное. Точно так же летом я забыл в кармане подберёзовик, а когда через несколько дней надел куртку – до слёз испугался.

Бабушка побелела и велела сидеть с рукой в кармане «до антракта». Мы пошли в уборную, и там я освободил кисть из клея.

Концерт сопровождался ещё и лекторием, где тётенька в бледно-зелёном длинном платье рассказывала о музыке. Бабушка, напрочь сбитая столярным клеем («карман вырезать придётся!»), особенно раздражилась. Она терпеть не могла умных разговоров о музыке, особенно когда к произведению притягивали образ. Приводила пример, как сыграли некий «Ручеёк», и рядом сидящие дамы извосхищались точностью передачи композитором бега ручья. Потом оказалось, что музыканты перепутали и сыграли вместо «Ручейка» «Шествие гномов».

Зелёная дама вытащила на сцену девчонку моего возраста и одновременно знаменитую пианистку. Девочка долго и очень уверенно отвечала на вопросы зелёной дамы, а когда в завер-

шение та спросила, что, по её мнению, главное в жизни, бросила небрежно: «Эстэвить след в эскээсствэ…» Бабушка фыркнула.

– Бабушка, а важно оставить след? – спросил я после концерта, чтобы хоть как-то выправить своё положение.

– Важно человеком быть! – отрезала бабушка.

Карман засох, и бабушка его вырезала и края дыры сшила. После этого случая я заработал запрет на предпоходные вылазки на Тот Двор и на всю жизнь запомнил сороковую симфонию.

2

У бабушки есть несколько слов, которые её сильнее всего выражают. Одно из них – «башмаки». Не «ботинки», а именно «башмаки». Поначалу я пытался поддаться на блескучую гладь «ботинок». Больно уж выражали «башмаки» какой-то связанный с бабушкой простой и беспощадный жизненный дрызг. Приятие холода, ветра, стыни. Нечто неприглаженное, требовательное, учащее выносливости и неприхотливости телесной и душевной и накрепко связанное с русским духом. Но довольно быстро почувствовал я силу именно башмаков, сначала из товарищества с бабушкой, а потом и нутром поняв их крепящую силу. Ботинки, ботиночки представлялись чем-то приличненьким, маменьки-сыночным, торчащим из-под глаженой штанинки, точнее, брючинки костюмчика. То ли дело башмаки – простое, старинное. Никакие дороги не страшны в башмаках.

– Не смей шляться на Тот Двор, – повторила бабушка, и я послушно кивнул, выбегая на дощатый пол длиннющего нашего коридора.

Был праздник. С самого утра в открытую форточку лилась песня и сеялся небесный розовый свет. Праздник был редчайший, потому что к розовой музыке уготовили мне нежданную добавку – новые башмаки. Именно те, о каких мечтал, с подошвой, как ёлочка на колёсах ЗИЛ-157, который мы звали пятитонкой. «За одним не гонка – человек не пятитонка».

Машины и, конечно, грузовики были для меня живыми – и военные, и послевоенные, в которых я досконально разбирался лет с четырёх. Строки «Шла машина тёмным лесом», «Выходила на берег Катюша» работали на образ, а образ был трудовой: мне нравилось, как газоны, зилы и кразы справлялись с работой, а угловатый вид мазовского самосвального кузова с торчащими стойками напоминал локти с засученными рукавами. Когда я спросил бабушку, почему все грузовики такие однотонно зелёные, она отвечала, что если на нас снова кто-нибудь нападет, то «все грузовики пойдут на фронт». Словно сами решают – идти или нет.

На Тот Двор дорога была закрыта, и я послушно пошёл по длинному нашему коридору на улицу. Дверь выходила на асфальтовую площадку, которая вечно крошилась и разваливалась. По случаю праздника дядя Вася встал пораньше и залил её цементом.

Удивительно в тон розовому утру пришлась эта нежнейшая зеленоватая поверхность, проглаженная дощечкой-гладилкой. Дрожащая, как студень, и резко пахнущая стройкой.

И какой-то огромный голос во мне восхищённо прошептал: «Альба-а-астра…» Как я преодолел альбастру и была ли там доска проброшена на двух кирпичиках, не помню – но вот форсировал я преграду и оказался на улице. Но тот же голос сказал мне: «Развернись» – и вернул к дрожащему болотцу, которое нипочём человеку-пятитонке. Испечатал я ёлочкой всю «альбастру» и изгваздал выше рантов башмаки, а выйдя на сухое, притихше и сглатывая слюну, замер, «прижав уши».

Бабушка появилась, и мы долго шли по Щиповскому переулку, пока она не сказала: «Ну что, оставил след?» Больше ничего не помню из того похода. Как ругали, не помню. Что сказал дядя Вася, не помню. Что сказала ему бабушка… Разбивал ли он ломиком площадку и заливал заново… Или доливал по моим ёлочкам… Разглаживал ли ровнялкой? Копалась ли вообще возле двери невысокая его фигура в кепке…

До сих пор видятся бессмертные те утра. С фабрики «Новая заря» нежно наносит духами. Песня звучит в прозрачно-розовом просторе, в нём дымная примесь синевы, шершавость туманчика, огромность неба. Голоса направлены на самоё себя со смущённой какой-то самосильностью. «Утро красит нежным светом» льётся не из репродуктора, не из радио, не со сцены. Оно растворено, смешано с серебряным небесным песочком и просто живёт в этом благом свет-воздухе.

Кинешма. Первый приезд

1

В Кинешме прошла бабушкина юность, и туда мы не раз ездили на каникулы к бабушкиному сводному брату, дяде Коле Петрову, и жене его – тёте Шуре. Кинешму я воспринимал как продолжение какого-то нашего с бабушкой общего жизнеустройства. Обязательный городок и там двое основательных и образцовых людей, бабушкиных родственников. И старинный буфет и стол, за которым меня потчуют чаем с вареньем из хрустальных блюдечек. Солнечногорск – Иван Николаич и Фелицата Евгеньевна. Кинешма – и там почти то же самое, только для… отвода глаз зовут их дядя Коля и тётя Шура.

И с той лишь разницей, что дядя Коля время от времени приезжал к нам в Замоскворечье – грузный, осанистый и напоминавший старого слона: нос с лёгкой горбинкой, длинное полное лицо. Молодым пройдя германский фронт, когда-то офицер и красавец, говорил он подобно Ивану Николаичу Крупину надтреснутым басом, только ещё более зычным, театральным. Считалось, что в Москву он ездил за нюхательным табаком и зелёным сыром. Но не сыр-табак нужны были, а дорога да поезд. Да четвертинка с резиновой чёрной пробкой, в которую ему возле магазина наливали, когда соображали на троих. Вот он и соберётся и в своём чёрном драповом пальто метнётся по зимней кинешемской ветке.

Зелёный сыр бабушка покупала ему заранее. Он в виде конуса с отрезанной вершинкой – как перевёрнутый стаканчик.

Табак дядя Коля брал сам и пересыпал из кубической бумажной пачечки в круглую табакерку. Дядя Коля же научил ещё молодую бабушку курить. Лежал на диване: «Маруська, прикури мне папиросу!» Видимо, спичек не было лишних, и Маруська шла к печке или лампе.

Отпрашивался я у бабушки гулять, и на дяди-Колин зычный вопрос: «Куда это он?» – она отвечала, что «на лыжах кататься». А дядя Коля презрительно-разочарованно тянул: «Ну-у-о-о…» – и, откашлявшись, декламировал: «В эти годы у него должна быть одна дорога: туда, где Она!»

От дяди Коли сладковато-жарко пахло смесью переработанной водочки и колбасы. Однажды бабушке позвонили с Ярославского, или, как она говорила по-довоенному, с Северного вокзала. Сказали, чтобы приехала. Вдрабадан пьяный дядя Коля сидел у стенки вокзала.

Бабушка крепко дружила с его женой – тётей Шурой, которая жила в Кинешме и в Москву не металась. Она была украинка, урождённая Кисляк, дядя Коля привёз её с Украины. Родители её почитали чтение, и на стене висел портрет Толстого. Говорила тётя Шура без акцента и была небольшого роста, с прозрачно-голубыми глазами.

Однажды, когда она гуляла по Кинешемской набережной, подошёл пароход. Московская туристка спесиво вопросила: «Как живёте вы здесь, в эдаком захолустье?» Тётя Шура отвечала преспокойно, что «для мыслящего человека нет захолустья» и что здесь, включая театр, музей, картинную галерею и прочее, имеется совершенно всё.

У дяди Коли и тёти Шуры был единственный сын, Алька. Трижды с фронта приходила на него похоронка. Две оказались ложными, а третья настоящая: в конце войны в Прибалтике

его в спину убили из пулемёта. Алька был красавец несусветнейший, порода ушла и в дочь его, и когда та приехала с Украины, сбежались все кинешемские парни. Дядя Коля её отправил восвояси.

2

Северный вокзал, зима, ночь – всё новое и сильное давало дух той дороги, снежной, вьюжной, с инеем в тамбурах, с заоконной тьмой и огнями. И звёздами, которые неслись куда-то вперёд за мелькающими ёлками, пока я не понял, что бегут-то как раз ёлки, а мы не то летим, не то парим в студёной связке со звёздами.

Из названий запомнился Александров, где нас перецепили на паровоз, и эта незримая паровозная тяга ещё добавила зимнего, клубящегося, свирепо-первозданного. А я всё пытался ощутить новизну этой тяги по изменившейся побежке поезда. Проснулся я от ночной остановки: кто-то входил с сумками, таща морозный воздух. Бабушка сказала с тихим торжеством: «Вичуга». И, не удержавшись, добавила заветный перечень: Вичуга, Нёмда, Решма.

Утром стояли на станции неподалёку от Кинешмы, и я смотрел с верхней полки в окно на паровоз – он был кофейного цвета и, скорее всего, мне привиделся, по крепкому обычаю оставшись картиной навсегда. Другой образ, за него ручаюсь: гуляем по перрону, вдоль него работает маневровый паровоз. Он медленно набирает ход. Нарастает мощная и отрывистая отсечка, словно рубят пар, как тугую капусту. Она на четыре такта, ритмичная и оглушительная. И кажется, участившись, сольётся во что-то катастрофическое.

Особенно грозным было замедление и остановка паровоза. И то, что когда он полз медленно, мог и фыркать, и не фыркать по настроению, что подтверждало его одушевлённость. Пар, валящий из соединений, локтястые привода. Дышла, вращающие колёса с неестественной бешеностью, их головки, описывающие эллипсы, – такого не было ни в одной технике. Другие машины прятали свои потроха под капоты и кожуха, а этот выставлял напоказ, будто кичась.

Ясно помню выход из поезда в Кинешме, умятый снег вокзальчика и обилие лошадей, запряжённых в розвальни, и эти розвальни с колокольным развалом к корме и похожие на расстёгнутый тулуп, в котором, извернувшись, боком сидел мужик. Розвальни были разные – и попроще, и побогаче, и везде с великолепным этим развалом… Морозно-свеже парил пахучий навоз с овсяными шелушинками, валялись клочья сена, и воробьи сновали под ногами. И бабушка шагала победно-счастливо.

3

Дом дяди Коли и тёти Шуры серый, этажа в четыре. Заходим со двора – там лошадь с санями. Конская морда, жующая грызло, лиловатый язык, его выпихивающий. Жуёт так ожесточённо и так закидывая назад голову, будто её за секунду до нас взнуздали.

Квартира сумрачная, с высокими потолками. Обставлена вещами, которые когда-то перевезла в Кинешму моя прабабушка Вера Николаевна Дубасова. В гостиной особенно сложен и огромен буфет, нагромождение уступчиков, граней – сумрак, объём и нутряная даль. Туманчик… Гранёные стеклышки в медной окантовке. «Корабельные стёкла», по выражению Бабушки Веры…

За ними блюдечки для варений – тоже гранёные, но мельче, скрупулёзней шаг огранки… Стулья, стол… Всё знакомо бабушке с детства – она здесь дома, будь то буфет или площадь с розвальнями.

К тёте Шуре обстановка попала из прабабушкиного дома. Он будто был на улице Песчаной, и помнится, мы долго его с бабушкой искали, хотя слово «помню» тут вряд ли подходит: настолько спутанно привидевшееся и виденное взаправду. Искали мы и нашли бледно-синий

одноэтажный домишко и долго-долго напротив него стояли. Словно ждали чего-то – не то дом узнает нас и дрогнет стеклами, не то выйдет кто-то далёкий и знакомый до слёз, прижмёт к сердцу, и сольются в один щемящий замок два детства – далёкое и маревное бабушкино и моё – то зоркое, то туманное, но уже уловившее незримую тягу прошлого…

Дядя Коля больше сидит у себя, но иногда выходит и пытается меня развлечь. Однажды нарисовал на листке куски слов, чёрточки:

– Называется ребус. А ну-ка, что это?

Над «я» чёрточка, над чёрточкой написано «бед». Зачёркнутое «за». Я ничего не разгадал, а вся городьба эта означала: «Бед-на-я ко-была по-есть за-была».

– «По» – есть. А «за» – было. Видишь зачёркнуто!

Или расспрашивает меня, что читал, а я говорю: «Последний из могикан». Он в ответ: «Значит, ты Монтигомо Ястребиный Коготь». Я говорю, что нет там такого в книге. А он не отступает и даже здоровается: «О-о-о-о, Монтигомо, Ястребиный Коготь!» А я стесняюсь и остро чувствую опасность цепляния и подгонки меня под его обычаи-повадки.

Дядя Коля уходил в свою комнату и слушал там радио. Однажды оттуда донеслась песня, женский голос пел: «Кто сказал, что Волга впадает в Каспийское море, Волга в сердце впадает моё». И я представлял карту, разбирался, где Волга, где Каспий, где я, и выходило, что область сердца в районе Кинешмы.

Дядя Коля больше сидел у себя. Бабушка же с тётей Шурой пили непрерывный чай в гостиной, а меня усылали в соседнюю комнату читать Чехова. Чаем, конечно, меня тоже поили, но рассиживаться не давали. Бабушка выпроваживала командно, а тётя Шура смягчала дело рассказом о пользе чтения: как в её юности некий приехавший всучал ей «Вешние воды», а она фыркала: «Вот ещё: воды какие-то! У нас тут и свои не хуже! – говорила она с интонацией: «А у моего батюшки и сливочки не едятся». – Особенно по весне, когда Волга стронется». Я видел забавность её молодого фырканья и не воспринимал пример как наставление к чтению. И выходя, повисал на дверном косяке, а бабушка говорила: «Не отсвечивай».

Комната, куда меня высылали, была, как и вся квартира, с высокими потолками и мрачноватая. Что-то тоскливо гудело в доме, в трубах ли, и я впадал, бывало, в тоску, но чтение побеждало. Сидел я за столом под зелёной лампой и читал прекрасное издание Чехова – большое, в светло-серой обложке с тиснением. Там был и рассказ «Мальчики», где упоминается тот самый Монтигомо. Но мне почему-то особо запомнился рассказ «Злой мальчик», причём розовыми ушами, за которые мальчишку драли молодожёны. Я настолько ясно представил это ярко-розовое на просвет ухо, что жил им долгие годы, пока, перечитав, не нашёл никакого описания розовости. Сказано лишь, что за ухо драли.

«Драму на охоте» я прочитал с упоением и испытал чувство манящей тоски, тайны, связанной с любовью и смертью, которая меня подхватила под самую душу и дала какое-то главное ощущение литературы, её таинственной силы. Перечитав взрослым, я был разочарован – образ главного героя, которого Чехов почти презирает, я принял тогда за чистую монету.

Читал я обычно вечером, а днём мы с бабушкой бродили по городу. Была в Кинешме площадь в волжском духе, звавшаяся в старину Торговой, с купеческими домами, торговыми рядами и угловым магазином, будто вырубленным из неровного крепкого творога. Стояли морозы. На подходе к площади так тянул ветерок, что ломило щёки, сводило выступы скул, и я останавливался и поворачивался спиной. А бабушка заранее мазала мне «морду» гусиным жиром, и я хорошо помню его сытый запах и чувство своих блестящих мазаных щёк. Греться мы заходили как раз в бело-творожный дом, в магазинчик. И в магазинчике звучало волжское оканье, кто-то покупал м*ол*око, и морщинки у бабушкиных глаз весело светились.

Набродившись, мы возвращались домой, к столу с обедом и бесконечным чаем. Когда мне удавалось при нём задержаться, тётя Шура обязательно рассказывала что-то волжское. Как

празднично и долгожданно идёт весенний лёд по Волге, а вскоре за ним и первые пароходы. И что есть даже астраханские, огромные и особенно будто белые.

4

Перед отъездом мы пошли к бабушкиной подруге тёте Гале Целевич. К ночи вызвездило, и на вдохе до слёз, до захлёба остро и враспор встала морозная даль, отдавая дымком и ещё чем-то зимним и грозно знакомым.

Морозец не давал мешкать, но то, что я увидел во тьме поодаль, заставило замереть. Это был поворотный круг. На него заехал паровоз, стравливая пар и светя под низ красным туманом. Вот он встал на месте и начал медленно разворачиваться. Я был уверен, что его крутит колесо, чёрный, как ночь, чугунный диск, хотя на самом деле вращалась только ферма с рельсами, а циферблат самого компаса стоял на месте.

Что-то было могучее в этом конце дороги и её же мгновенном возрождении. В том, что, набрав ход и долго летя в связке со звёздами, паровоз вдруг стал в полный разворот и сменил курс с такой мутящей планетарною силою, что, казалось, и звёздное небо теперь должно повернуться вослед.

Паровоз ушёл, а звёзды остались на месте и только придвинулись. Морозец тоже поджал. Протяжней залаяли собаки. И в этом раскатно-задумчивом лае, в угольном дыме и холодном переблеске огней и звёзд было что-то пронзительно бесприютное. Но ближе к тёплому крову всё легче шагалось, объёмно и золотисто манили гостеприимные окна, ещё шаг – и родной до морозной слезы станет эта зимняя звёздная бесприютность.

Кинешма. Второй приезд

1

Астраханские настолько поразили моё воображение, что я пробредил ими до весны. В день нашего второго прибытия в Кинешму висящее в сыром воздухе слово «ледоход» так будоражило и манило, что я, едва сойдя с поезда, уже волок бабушку на берег, совершенно как тот конь с пенным грызлом из первого нашего приезда. Улица упиралась в мутный просвет Волги, в настолько паркое молоко, что никакого того берега видно не было. Город тонул в тумане, который я принял за обязательный признак ледохода, словно, перемешанная со льдом, река обязана превратиться в пелену, взвесь, в смесь кристаллической ледяной пыли с речной влагой. Весенний туман, мягко скользящая каша, мутно-жёлто-зелёная мешанина льда и его шорох так и остались чем-то невиданным, а ледохода в таком тумане я не встречал никогда.

Вдохновенная и вздымающая сила шла от проснувшейся Волги, светлое волнение стояло абсолютно на всех лицах, и всё это означало, что скоро начнётся навигация и я увижу астраханский.

Снова я на кухне у тёти Шуры ем варенья из хрустальных блюдечек и смотрю на Бабушки-Верин буфет. Такие же створки с гранёными стеклышками, та же тётя Шура и та же Кинешма, но… что-то непоправимо изменилось в этом уже родном для меня доме. Нет дяди Коли. Во дворе его, пьяного, придавил к стене пятящийся грузовик. То, что всё произошло не при мне, что всё подметено, до синевы подчищено к моему приезду, усиливает ощущение меня маленького, которого будто щадят, берегут от страшных событий. И дарят праздниками.

Волга расчищалась ото льда, но всё не шли ни астраханские, ни другие пароходы, и длилось бесконечное ожидание, таскание бабушки на берег, мучительное выглядывание речной дали, в которой однажды странно, одиноко и невыносимо долго синела вдали вверху какая-

то низкая баржонка. Словно замершая городошная бита, медленно-медленно вращаясь, она сплавлялась по течению, и я изнывал от загадки и тоски: что же это за судно, что с ним случилось и где же наконец настоящий пароход?!

Помню свежайшее утро, ощущение края, который подступает на берегу большой реки, и наконец изменившаяся речная обстановка. Привёл баржи и встал небольшой буксир с угольно-чёрным корпусом и круглыми в деревянной окантовке иллюминаторами. Вид его меня заворожил, особенно иллюминаторы, и такие же круглые кранцы из шин, и то, что звался он «Углич», да ещё тащил баржи с углём. Хотя образ ещё не дополнился самим Угличем, Димитрием-царевичем и Пушкиным. Но и это не за горами…

Нашёл у себя в дневнике старинную и местами выспренную запись: *«Виденное и привидевшееся в детстве закреплялось бесчисленными обращениями к этим воспоминаниям и почти сразу наполнялось необъяснимым значением. Но особенно остро и мучительно наваливалось воспоминание по прошествии времени, войдя в полосу особого свечения, которая тащилась за мной с тросовым провисом года в два-три. Столь мучительная сила воспоминания тяготила, пока я не понял, к чему сподвигают эти баржи с углём былого: что нет им лучшего применения, чем стать топливом для книги. И что столь сильному переживанию той или иной жизненной поры нет иного объяснения».*

Зимой буксиры вмёрзшими утюгами стояли в затоне Кинешемки, и я бродил меж них, омертвело-сонных, и в чёрно-белом зимнем свете деревянные окантовки иллюминаторов глядели выцветше-серыми. Но тайны в них было не меньше, чем в их грядущем весеннем собрате «Угличе». И если маленькие буксирчики на меня производили столь сильное впечатление, то что уж говорить о большом пароходе, да ещё загадочно-астраханском!

Уже Волга очистилась ото льда, а я всё таскал бабушку на набережную, по которой мы бродили под её рассказы про буксиры и расшивы – деревянные парусные суда, ходившие когда-то по Волге. И про то, что баржи в составе называются пыжами, и бывает два типа «счала»: когда друг за другом и когда борт к борту, и что когда борт к борту – это «пыжевой счал».

Как-то солнечным днём оказались мы с бабушкой на площади и обнаружили возле творожно-белого дома гнедую лошадь, запряжённую в нечто чёрное, истрёпанно-кожаное и великолепное. «Тарантас», – почти прошептала бабушка. Потом мы пошли с площади к набережной, и бабушка, впившись взглядом во что-то впереди нас, якорно потянула мою руку вниз: нам навстречу нёс мужик на руках огромного глухаря – мощный и рыхлый ворох с тяжко свисающей шеей. А потом…

А потом я вдруг увидел торчащие антенны чего-то восхитительного, что скрывалось за высоким берегом. Настолько необычайна была эта белая мачтовая городьба, за которой свеже и нежно синел волжский простор, настолько она изменила и берег, и город, и меня, что я побежал к Волге с истошным криком: «Бабушка, астраха-а-а-а-анский! Астраханский!»

2

Пароход оказался не астраханский, а обычный двухпалубный. Звался он «Собинов». Приход астраханского как-то размылся, загородился этим «Собиновым», в звучании которого мне слышалось что-то немыслимо пароходное – казалось при этом звуке, кто-то с присвистом продувает огромную трубу…

Сколько мы с бабушкой выходили по Кинешме под негромкий её голос, одному Богу известно. Много рассказывала о заволжских лесах, полных боровой дичи, о Николай Матвеиче и его легавых собаках, делавших стойку на красную дичь, и вообще об охоте. И очень смешно изображала напряжённо замершую собаку с поднятой передней лапой. Рассказывала и о кошке Капе, которая увязывалась за бабушкой в лес и, когда её прогоняли домой, делала вид, что

ушла, а потом возвращалась, и бабушка, зайдя *в хвощи*, по их шевелению видела, как крадучись идёт параллельным ходом кошка.

Была трагическая история: парень катал девушку на лодке и решил подстрелить утку. В секунду, когда он нажимал на спуск револьвера, девушка встала и пуля пришлась ей в голову. Это уже было в послереволюционную пору, когда в Кинешме жил Сашка Гурьянов, шебутной и видный бабушкин двоюродный брат. Сашка был комсомолец, боролся с церквами и звал бабушку в комсомол, а та не шла. Сашку этого я помню в образе дяди Саши Гурьянова, человека необыкновенно породистого, осанистого и с седой, ярко светящейся шевелюрой – с такой яркостью горит боковой свет на пере чайки.

Дядя Саша приходил к нам в Замоскворечье. С расстановкой повествовал: «Э-э-э-э… один полковник купил хромированную «Волгу» и поставил на зиму под брезент. Весной «Волги» не оказалось, обнаружилась некая, э-э-э-э… форма из брусочков, и кирпичи, подложенные под ступицы». Бабушка говорила, что Сашка всё сочиняет.

Жил он какое-то время в Иванове, где работал журналистом и позже, со слов старых людей, «оставил добрую память» – там даже выходила о дяде Саше статья в журнале. С дядей Сашей связана важная страница бабушкиной юности. Она очень любила купаться, хорошо плавала и на спор переплывала Волгу напротив Кинешмы. И именно дядя Саша сопровождал её на лодке.

Всё это было невообразимо давно, и казалось, слова-рубежи «до революции», «до войны» где-то в непосильной, книжной дали синеют – настолько отрезки эти превышали мои семь или восемь лет. И жаль было прошлого, особенно бабушкиного, такого отцветшего по сравнению с моим светящимся будущим.

Всё в Кинешме было пропитано бабушкиной школьной юностью и памятью о подругах. Подруги жили себе на Волге, не мечтая о других краях, жили девичьей своей жизнью, настолько лишённой заигрывания с этим самым девичьим, что нынче трудно такое и представить… И сравнить с чем-либо по осмысленности, интересу к жизни, простоте: играли в лапту да городки, купались в Волге, читали и обсуждали книги.

Придумали игру: какой писатель – какое блюдо. Толстой – это такие щи богатые, в них петрушка большущая, и кость с жиром на мясе, и если на холод – то сальцем возьмутся. Гоголь – окрошка, квас, чёрный, как ночь над Днепром… И если сметану положить, то густую, желтоватую, как луна. Чехов – куриный бульон, чуть мутный, и шкурка курицы такая в пупырышках… Тургенев – что-то из боровой дичи, конечно… Тушёный тетерев с брусничным вареньем… Нет! С клюквенным! Спорили со всей серьёзностью, до крика… Спорят, спорят, а потом как расхохочутся.

Всё было по правде, и именно эта вместе добытая правда их и сплотила. Трёх я знал: двух тёть Галь и тётю Муру Раевскую, которая к тому времени уехала в Ленинград.

Тёти-Мурин брат, молодой красавец, был юродивый и в двадцатых годах бродил по Кинешме в веригах, а потом зловеще исчез. Бабушка почему-то произносила «юроди́вый», а я её мучил про вериги: какой в них смысл. Бабушка отвечала: «В том, что никто тебя не неволит». – «Что не неволит?» – «Носить вериги. Спи».

Тётя Галя Молокова худощавая, черноволосая, с чёрными, будто матовыми, глазами. Жила на горе за Кинешемкой на втором этаже двухэтажного дома, высокого и обшитого потемневшим тёсом. Рядом стояла квадратная толпа лип, прозрачных и сквозистых.

И тёмный тёс дома, и липы с оттенком в вишнёвость имели какую-то необъяснимую глубину и значимость, словно чего-то от меня ждали. И манили, но даже не грустным, а давешним, неизбывным, как зимний вечер, – словно кто-то взрослый во мне давно уже знал и липы, и дом на горе, и так приворожился, что его самого навсегда вытянул, принял в себя этот простор, а теперь и меня, маленького, проверял на верность.

3

Тётя Галя разводила на продажу цветы. В один из приездов бабушка, идя по улице, увидела торгующую тётю Галю. Проходила хорошо одетая пара, и она, протягивая букет, бросилась к проходящим с таким беспомощно-заискивающим движением, что бабушке нестерпимо больно стало за близкую подругу.

Дом тёти Гали Целевич не помню, зато саму её вижу, как сейчас: широкоскулую с металлическими зубами. Муж – живейший, небольшой и беззащитно лысый мужичок, похожий на актёра Леонова. Лысость особенно безоружная, горькая. Лысина старательно перекрыта жидкими прядями. Представился: «Владимир Ильич, – и с извиняющейся улыбкой добавил: – Но, ць, не Ленин». И развёл руками.

Оба несказанно нам рады, тётя Галя улыбается железными зубами, ведёт за стол, а там варенья, черничные, сливовые, яблочные – яблоки крупными мутными кусками в хрустальных вазочках. Владимир Ильич возбуждённо улыбается, шумит и налегает на зеленоватую поллитровку. Он шофёр грузовой машины и рассказывает, как весной проваливаются машины на переправе через Волгу. Как сам провалился, вылез уже под водой из кабины и не мог выбраться, тыкался в лёд головой, а я представлял, как он долбится лысой головой, а лёд не пускает. Раскрасневшийся Владимир Ильич говорил со страстью, с интонацией: «от как бывает», «всякое приходилось», и в каждой истории звучало жаркое требование какого-то высшего, последнего объяснения произошедшего, чего-то такого, где не ищут виновных, а лишь дивятся, как откровению.

Рассказывал ещё историю, довоенную. По весне бывают морозцы после оттепели. Таким морозным утром шёл он льдом по конскому санному следу. И будто след оборвался, и он увидел мёрзлую мешанину льда и перед ней оторванные конские уши. «Я как представлю, как он тащил её! – замотав головой, вскрикнул Владимир Ильич и, хлобыстнув ещё рюмку, заел капустой. – Кормилицу!» Тётя Галя, едва он начал рассказывать, толкала в бок, зачем, мол, при ребёнке. А Ильич, закусив, грозно глянул на меня красными округлившимися глазами и, стукнув кулаком, рыкнул: «Пусть знает!» И несколько раз рысканул глазами направо-налево.

А потом вышел и вернулся с гармошкой. Прежде гармошку я слыхал только на улице, а тут обрушилась на меня её непривычная для помещения громкость, напор. И ощущение, что музыка идёт сочным пучком, вкачивая в жизнь если не театральное, то что-то, несомненно, высшее по весу и остро противоположное обыденному, прозаическому…

Пел Ильич мало – больше играл, подстанывая, отклоняясь корпусом, напряжённо доигрывая лицом, которое, как тиком, бралось в особо трудных местах мелодии.

Сидел он рядом со мной, и было два звуковых слоя: где-то шла музыка, а совсем близко пуговично клацали кнопки. Особенно это слышалось, когда, играя плясовую, он набивал по пуговкам кистью и они отзывались сухой чечёткой.

Меха гармошки были не раз помяты, и, когда Ильич тянул, то одно особо измочаленное место мятым треугольничком всасывало внутрь. Запомнилось именно ближнее – жизнь пуговок, мехов. Сама музыка ещё скользом шла, и из глубоких впечатлений осталось, пожалуй, одно: когда зазвучало нечто торжествующее, монументальное, снежно-дорожное… Что это было – «Степь да степь кругом» или и впрямь Свиридов, не знаю. Помню только, что музыка не рекой текла, не потоком. Она ликующе стояла завесой.

Он снова заиграл, но вдруг прислушался, замер и поставил гармонь на табурет. Принёс трёхкопеечную монетку, заточенную с одного бока, отвернул ею шурупы и разобрал гармошку. Открылись бумажная изнанка мехов, деревянные комнатёнки с планочками… Что-то в них вывалилось. Несмотря на несовместимость пересохлого гармошкиного нутра с водочной дрыз-

глостью Ильича, он уверенно и осторожно выудил упавшую рамку, поставил на место и, собрав гармошку, сочно жамкнул мехами. Звук пошёл отличный.

Потом отдал мне гармонь и приложился к хрустальной своей рюмочке. Я потянул меха, и они отозвались расслабленно-нестройно.

– Дело мастера боится! Был в Заволжье… – Ильич махнул вдаль рукой, а тётя Галя покачала головой:

– Ну всё – замахал Ильич руками!

– …Был в Заволжье на два села один гармонист. Заядлейший. Ещё говорил: «Ты неправильно играешь. С подтыром надо»… Гулял в деревне одной – играл-играл, а его ждут в другой. На свадьбе. А он всё играет, потом только пошёл. А меж деревнями овраг и лес кругом. Густой. С черникой. С малинником. А где свадьба – его хватились и пошли вызволять. Слышат – далеко-о-о-о… – пропел Ильич, прикрыв глаза, – в овраге гармошка. Да только играет странновато. В овраг-то спустились, а мимо них медведь ка-а-к повалит. А гармонь играет. Подходят – Михалыч на земле сидит и наяривает. Как заело его. Окоченел весь: пальцы от гармони еле отлепили. Оказывается, медведь на него попёр, тот орать на него по матери – не помогает. В дыбки – и идёт. Тот давай тогда играть: хоть помру с музыкой! И что думаешь: медведь встал, как вкопанный, аж мох взлетел – слушает. А перестанет играть – в рык и к нему. Тот снова играть. И остановил! Остановил. Два часа играл. Прикоченел, как колотушка. Ещё и язык прикусил. Язык-то длинный!

– А ум короткий! – сказала тётя Галя, и все засмеялись.

4

Был на краю города сосновый бор, гора и овраг. С горы я съезжал на лыжах. Нёсся с упоением от свиста ветра и налетающей силы дороги, в которую еле ухитряюсь вживить лыжины, еле успеваю перетаптывать ими, ловя равновесье на буграх и ямах. Лыжину ведёт вбок, и могучая сила подсекает и валит меня. Вспахиваю лицом снег до нашатырной рези в ноздрях. Задыхаясь, успеваю ощутить свирепое великолепие снежной пыли, вставшей облаком. Пыль опадает, отираю мокрое лицо, бессильно облепленное снегом, шевелю запорошенными веками и встаю во всей раскоряке лыжин, выворачивающих ноги. Отстёгиваю резинки, отряхиваюсь, охлопываюсь, подбираю палки… Гляжу на изуродованную лыжню и лезу в гору.

Бабушка любила смотреть, как я несусь с горы, и долго выстаивала на взгорке под соснами. Как-то закатался я до синих сумерек, потерял рукавицу, которую мы долго искали, пока темнело и всё вокруг, и склон горы, и наши поиски ещё сильнее обращались в какое-то застарело-знакомое наваждение… Тот же снег, тот же круг поисков, те же кусты ивы. И чувство, что всё это было, и какое-то вдруг иное ощущение и себя, и времени, и даже найденная тёмная рукавичка – как со дна морского.

Бабушка стоит поодаль как-то особенно недвижно. Я спрашиваю: «Бабушка, это ты?» И вдруг понимаю, насколько стемнело, поднимаю взгляд в морозное небо и замираю – так ясно и близко сияют звёзды. Они поразительно ярки, особенно Млечный Путь, пролёгший объёмно и пыльно во всё небо… Бабушка показывает свою любимую Кассиопею и Волопаса со звездой Арктур, и меня восхищают названия – в Арктуре мне слышится холодное великолепие и тайна, а Волопас смешит. Потом она переходит на Большую Медведицу: «Считай от стенки ковша пять отрезков». Я отсчитываю и попадаю на Малую. Бабушка говорит, что в ручке Малой – Полярная звезда, показывающая, где север. Она на самом приверхе неба, и север еле определишь.

Звёзды поразительны, и я впервые осознаю, что вся эта светящаяся бездна – не просто ночная обстановка Кинешемской окраины, а по правде существующие огромные светила, отстоящие на немыслимом расстоянии не только от меня, но и друг от друга.

Я замечаю маленький хрустальный ковшик. Он настолько прозрачно-прекрасен и будто объёмен, что я удивлён, почему не показала мне бабушка Плеяды в первую очередь.

Пронизанный дышащей бездной, я долго пытаю бабушку о бесконечности Вселенной, но она ничего мне не может сказать, кроме того, что всё это «космос».

При этом слове мне вспоминается приходивший к нам в Замоскворечье дядя Юра Диков, зять моей второй бабушки, Марии Макаровны, негромкий человек с детски синими глазами и залысиной какой-то очень нежной выделки, легко берущейся морщинами. Он был связан с физикой и на мой вопрос, что за космосом, с тихо-загадочной улыбкой отвечал: «Ещё космос». А я спрашивал: «А за ним?» Он снова улыбался: «Ещё космос». Казалось, улыбка связана именно с ожидаемостью и повторением моего вопроса. И моим непониманием – ни этой бесконечности, ни этого перечисления. И убеждённостью, что меж вторым и третьим космосом обязательно должна быть какая-то граница, перепонка.

Фигура появилась внизу. Морозно скрипя валенками, шёл из оврага человек. Им оказался не кто иной, как наш Владимир Ильич, бедовый муж тёти Гали. Помню своё и удивление, и одновременно ощущение, что иначе и быть не может в этом очарованном кинешемском пространстве. И радость, что мы встретили Владимира Ильича, словно это доказывало какую-то справедливость вообще: настолько хотелось всех встречать – близких и дорогих, раскиданных по замоскворечьям, солнечногорскам, кинешмам…

Шёл Владимир Ильич шарящейся, низовой походкой и было что-то в этом нарыске безутешное. Доносило от него водочкой. Под мышкой он держал гармошку, крепко обнимая, прижимал, словно она пыталась рассыпаться… Он остановился: «Голоса потерял!» И долго говорил с бабушкой и махал рукой в сторону оврага, тёмно черневшего в подножьи сумрака, смешавшего ориентиры.

Оказалось, Ильич шёл из гостей и в овраге упал настолько сильно и нескладно, что гармошка, державшаяся на нескольких шурупах, развалилась. Выпали голоса, которые он в темноте не нашёл. Он показал на звёзды:

– Такой яснец! Не засыпет. Найду завтра!

Дома я всё не мог заснуть: громоздились созвездия, и налетала лыжня, множась на копии и бесчисленно сходясь-расходясь.

С ночи засыпал медленный и мелкий тягучий снежок. Я, будучи на пике своей лыжной эры, ободрённый снежком, умягчавшим мой спуск, с утра отправился через Кинешму на гору. Всё тонуло в сероватой пелене, городские звуки словно подбило ватой, а фигуры казались обобщённо-чёрными. И на одной улочке вдруг с внезапным грохотом съехала плита снега с крыши.

Даль, подъём, сосняк тонули в туманчике, снежной крапчатой сыпи. Появилась издали чёрная фигура, она приблизилась, и я различил мешок за плечами. Владимир Ильич в мешке нёс гармошку:

– Пошли голоса искать!

В низине даже под свежим снежком всё было истоптано и изъеложено, и снежок пушисто повторял рисунок. Ильич вытащил гармошку, аккуратно разложил мешок и положил на него гармонь, причём не на середину, а ближе к краю, чтоб осталась свободная часть, которой он прикрыл «струмент». И принялся за дело. На корточках, а то и на коленях медленно снимал снежный пух, вёл терпеливую вскрышу, убирая пудру с окаменелой пропечатки вчерашних поисков. Потом и её, твёрдую, принялся прощупывать, вгрызаясь красными пальцами и меж них просеивая. Я как мог помогал ему, а он приговоривал: «Не затопчи, главное, не затопчи… Должны найти… Грят, и иголку в стогу сена находят… Ведь сидит где-то и над нами смеётся».

Я попробовал чистый снег в стороне от вчерашней копанины, и какова была моя радость, когда, веерно возя рукавицей, я вдруг нашёл металлический блестящий предметик, пластиночку с двумя прорезями, похожую на длинную пряжечку. На последних проходах руки она засинела сквозь пористый снежок. Не веря глазам, я убрал снег. Голос лежал, холодно поблёс-

кивая. Рассеянный свет неба горел на нём ровно и сдержанно, и, казалось, сама музыка, как серебро, пролилась на зимнюю землю и застыла зеркальцем на выстывшем дне оврага.

Ильич тоже вдруг нашёл голос, потом ещё один. Лицо его сияло… «Никуда не денутся…» – сказал он весело и сдунул снежок с последнего голоса.

Ильич откинул мешковину, как полость, достал из кармана монетку и отвинтил резную крышку. Странно было видеть шкатулочную бездонность гармошки на фоне оврага, серых кустов, падающего снега. Аккуратно, как рамку с сотами, он вытащил колодку с щербинами недостающих голосов.

Голоса приклеиваются на нагретый воск с добавкой канифоли. Всё было мёрзлое, и я хоть и ничего не понимал в гармошечном деле, но был уверен, что обрадованный Ильич, убедившись, что все голоса найдены, приберёт их до дома. И было наладился из оврага, но Ильич, не глядя на меня, буркнул загадочно-тихо: «Да подожди ты» – и засунул колодку с голосами за пазуху под пальто, а голоса стал греть дыханием.

Потом достал колодку и положил на мешковину. Пошарил по карманам, зажёг спичку и поднёс к голосу. Блестящее зеркальце мутно взялось копотью, Ильич додержал быстро чернеющую спичку, лоскуток пламени подошёл под пальцы, и он не отпустил, пока спичка не сгорела полностью. Потом разжал пальцы, и она чёрная, худюще кривенькая, упала на снег. Расстегнув пальто, он протёр голос углом рубахи и, поставив на место, прижал. Потом так же прогрел, протёр и поставил второй и третий голоса. Пробормотал, кряхтя и очень тихо, с придыханием: «Пока так… На холодную…» Потом аккуратно взял колодку меж ладоней и, наружу вывернув локти, погрузил её в гармошкино чрево, а на последнем движении, напряжённо взглянув на небо, кивком отметил, что пришлась по месту: «Зато сыграем… на горячую…» И подмигнул: «Да, Михась?»

А мне не верилось, что она заиграет. Но Ильич сработал мехами, и гармошка запела. «Подсачивает», – покривился Ильич, глаза которого неуправляемо сияли. Медленнее и крупнее пошёл снег. «Пошли…» – грозно и чуть дрогнув голосом сказал Ильич и, заиграв, начал медленно, в такт снегу, подниматься в гору. Играл он ту самую кантатную мелодию, которая так мне запомнилась в тот вечер у тёти Гали. Что-то близкое к «Зимней дороге» Свиридова, которая теперь окончательно встала на место.

Ильич так и ушёл под музыку в снежный просвет. Пришла бабушка с проверкой округи – и потерянных голосов, и меня, и погоды. Перестал снег, и мутно пробилось солнышко. На его фоне тёмно гляделись остатки снежной крошки, с разворотом летящие из поднебесья. Под ногами всё рельефней проступали лыжные следы. Я съезжал с горы с громким воем. Бабушка спросила, зачем я вою, и я сказал, что «для грандиозности».

5

Когда я подрос, бабушка устроила нам поездку до Астрахани туда и обратно на трёхпалубном и точно астраханском пароходе. Поход начался в конце мая и длился в оба конца дней двадцать.

Бабушка писала: *«На улице солнце, но ветер. Холодно. Ночью несколько раз ходила смотреть шлюзы. Соловьи пели со всех сторон. Сейчас берега интересные, а потом будет очень широко и скучно. Денег хватит. Проедаем не больше 3 р. в день, а то и меньше – порции огромные. Мишка изучил весь пароход и пока больше ничего не делает. Вечером в 7 часов 30-го будем в Кинешме»*.

А я писал в письме школьному другу Ваське: «*Сперва мы 12 часов плыли по каналу. Пожалуй, самое интересное было шлюзы. Мы подплываем ко вторым воротам, тем временем первые ворота закрываются за нами. Мы пришвартовываемся к таким штукам на рельсах в стене. Воду спускают, и мы с этими штуками опускаемся до нужного уровня. Здесь полно*

чаек, сизая и серебристая. Видел даже крачку. Сейчас на Волге ветер – барашки… Проехали шлюзы. Бабушка дала читать «Годунова». Письмо отправлю в Угличе».

Храмы, монастыри, памятники казались моими личными заметами, чем-то обычным и должным, и потом только выяснялось, насколько каждая из них единственна и общеизвестна. Запоминалось всё порой в запутанном порядке: знаменитую и многострадальную церковь в Бармине за Нижним я запомнил, будто она чуть ли не на въезде в Волгу. Увидев силуэт церкви с колокольней, я спросил про неё у высокой пожилой женщины с девичьим каким-то пучочком. Она гуляла по палубе и необыкновенно охотно ответила: «Это Бармино», причём тоном, как у бабушки, – когда названием всё объясняется. Меня удивило, что она мгновенно назвала первую попавшуюся церковь, и было непонятно: то ли она всю Волгу так знает, то ли одно это место.

Следующим впечатлением была калязинская затопленная колокольня, стоявшая средь вод мрачно и чуть косо. Дул ветер, и её низ был сумрачно и сыро захлёстан волной.

Дальше был Углич с храмом Димитрия на Крови. Потом помню Кинешму.

Опершись на деревянный брус, я часами простаивал у ограждения палубы в компании молодого ещё человека, казавшегося мне матёрейшим дядей. Он недавно закончил речное училище, и я его мучил судовыми и речными вопросами, на которые он отвечал негромко и наставнически подробно. Я спросил, почему на нашем теплоходе две трубы, и он ответил, что одна настоящая, а другая «фальшивая», сделанная для вида. Говорили мы и про Кинешму, и про площадь, на которую мне обязательно надо попасть… Когда пришли и начали швартоваться, речник негромко сказал: «Ну, иди, иди. Посмотри на свою Кинешму».

Дальше был Горький, который бабушка звала Нижним. В Нижнем я проснулся от странной музыки, хорового пения, льющегося мелодично, ритмично, с медными подголосками. Оказалось, работает земснаряд, а мы стоим на рейде напротив города. В Нижнем бабушка стремилась в два места: к монастырю и в музей Пешкова. Алёша Пешков нравился ей своей мальчишеской тягой к книге. И она повторяла торжественно: «Ну, Лексей, ты – не медаль, на шее у меня – не место тебе, а иди-ка ты в люди». Звучало это и мне в упрёк – мол, у тебя-то, слава Богу, до этого не доходит, так что знай, как бывает! И цени. Музейный домишко выглядел домашне – с деревянным, низеньким подворьем.

Потом был Волгоград с Мамаевым курганом, который мы подробно осмотрели весь, хотя, кроме фигуры Родины-матери и стен-руин, я ничего не запомнил. Чебоксары привиделись мне выше Волгограда и запомнились благодаря зеркально-золотистому значку, купленному бабушкой у пристани. Я собирал значки, которых накопилось с горсть, но этот мне нравился особо. Золотистый фон, коричневые буквы, а сам зеркальный, и когда под небом – с отдачей в синеву. Зеркальная грань с небесной поволокой меня манила, и казалось, что главные Чебоксары – там.

Кругом все окали, и я тоже начал окать, имея врождённую чувствительность к говорам, в которые погружался с головой и которые, воротясь в Москву, берёг в пику столичности.

На пароходе, добавляясь и сменяясь, ехали дети. Царило слоняние по салонам и палубам, выбирание какого-нибудь матроса-кумира и хождение за ним по пятам. В салонах обязательные шашки, в которые я настропалился играть и с такой скоростью обставил глухонемого молодого дядьку, что тот порывисто сгрёб шашки и ушёл. Был он чёрный, усатый и с густой чёрной щетиной.

Была ещё занозистая черноглазая девчонка с хвостиком. Как-то мы, бегая, потерялись с моим товарищем, и она, сползая вниз по поручню трапа и нависая надо мной, выпалила, окая: «Иди, он на третьей палубе, твой с*о*перник!»

Чем ближе к Астрахани, чем больше боялась бабушка холеры и мучила мытьём рук. В Волгограде зазвучал гхакающий говорок, который я немедленно и не в первый раз перенял и, гуляя по Астрахани, говорил бабушке, как здесь много «гхорлиц». Матово-бежевые кольчатые горлицы с тёмной рисочкой на шейке бегали, семеня, под акациями, по раскалённому асфальту. Жёлтый песочный свет был разлит над городом.

На обратном пути был вал на огромном Куйбышевском море. Пароход покачивало, и эту небольшую, но настоящую и первую в жизни качку я и изо всех сил выщупывал, сливаясь с палубой, и будто участвовал в ней, всем телом добавляя размаха. Второе посещение Кинешмы в памяти не отложилось. Зато команды «Отдать швартовы!» и торжественное «Прощание Славянки» на каждом отходе от пристани стали привычно-родными. Так же, как и кормление чаек с кормы, и бесконечные разговоры у поручня с моим другом-речником: про города и пароходы, из которых мне больше всего нравились колёсные: «Станюкович», «Писемский».

Хорошо легли на душу и волжские города – привычно родным стало устройство: набережная, площадь, торговые ряды, монастырь. Хотя музейное, монументальное, историческое до меня не особо доходило и больше запоминалось ближнее, людское.

Ехал благочестивый бородатый дед с подростком послушнического вида, худощавым, узколицым и веснушчатым. Бабушка говорила, что дед, видимо, священник. Обедавший с нами полковник скалозубского обличья назвал деда «поповатым», а бабушка обиделась.

Был ещё парнишка в чём-то чёрном, истрепанном, татарин ли чуваш, веснушчатый, круглолицый, похожий на Мустафу из «Путёвки в жизнь». Он был постарше и, будто отвечая за меня, поучал: «Надо маслы есть, маслы есть». А я не понимал: масло или мослы. Был он разговорчивый, несуразный и совершенно раненый, безденежный, видно, сирота.

У бабушки он так описан: *«От Горького едет татарчонок лет 16–17. Был там на операции. Живёт в Куйбышеве, скоро доедет. Мишка с ним подружился. Он знает места и всё показывает. Едет голодный-холодный. Дали ему рубль: он вчера поужинал. Сейчас Мишка послал его завтракать – у него ещё осталось 40 коп. Всё это Мишку волнует. Хорошо. Я не вмешиваюсь»*.

А у меня так в письме: «*До Куйбышева я подружился с одним татарским парнем. Он ехал из Горького из больницы без копейки денег. Я дал ему рубль. Он вышел в Куйбышеве. Он работает на заводе и учится в вечерней школе. Я подарил ему переливающийся значок, купил ему мороженого и сока. Когда наш пароход отчаливал, он стоял на пристани и плакал*».

По прошествии лет смотрю на Волгу издали и будто чуть сверху. Город с церквами, Торговая площадь с розовато-творожными домишками, пристань и ещё что-то белое, заветное на реке – не то льды, не то остатки тумана. Не то Стенькины паруса… Сильнее разгоняет клочья крепкий ветер, вздувает ребристую рябь, и вижу: буксир ведёт баржи пыжевым счалом, а за ними то самое белое и несбыточное – длинный пароход с колёсами и коптящей трубой. На палубе капитански стоит бабушка в плаще и с поднятым воротом, щурит глаза и курит «Прибой». Играет «Славянка». А я бегу к Кинешемской набережной с криком: «Астраханский! Астраханский!»

Ленинградское

Ничто не вызывало во мне такую тоску, как вид безголовой колокольни с берёзками, растущими по контуру яруса звона. Или огромного полушарного купола на ротонде, мрачно-пузатого, ржавого и будто распухшего без креста. Особенно страшен вид погибшего железа. Дом без крыши не так жуток, как храм без маковки.

Хорошо помню одну такую церковь на Серпуховке. При всей тоске от разрухи – берёзкам я дивился и умилялся их цепкости и живучести. Хотя вряд ли думал о том, что почвой им стала пыль, принесённая ветром, и что семена эти ветер таинственно носит над городом.

Мимо этой церкви (Вознесения Господня) мы ходили в парикмахерскую и в «амбулаторию» – так бабушка называла поликлинику на Житной, – большое серо-зелёное здание в витиеватом стиле с широкими окнами – думаю, конца того века, а тот век для меня навеки XIX.

Из детских событий память брала лишь по одному событию. Один пуск спички по ручью, одни первые вербы. По одному зубному и одной парикмахерской.

Бабушкина строгость к расхожести, к преходящим ценностям касалась и того, как меня стричь. Всех мальчишек в ту пору корнали «под бокс» или «полубокс»: на лбу пирожок, а остальное и особенно затылок – голый. Бабушка такой фасон звала «куриной попкой». «Знаешь, когда курице сзади ветер дует»… И ещё не любила, когда скобкой затылок: надо постепенно – «лесенкой».

Пришли в парикмахерскую, усадили, укутали. Мне понравилось, что парикмахерша начала стрекотить ножницами ещё издали, словно они стрекоза или косилка.

– О, две макушки – значит, две жены будет! – сказала парикмахерша.

А когда стрижку закончила, с недоумением оглядела работу:

– У него голова пятна́ми.

Драньё зубов тоже одно запомнил. Ехали на троллейбусе мимо всё того же храма с берёзками и шли к серому зданию «амбулатории». Ждали в коридоре, пока наконец не запустили в кабинет. Открыл я рот и всё ждал, когда появятся огромные страшенные щипцы. Тем временем врачиха сказала сестре между прочим: «Дайте, пожалуйста, клювики». Едва я задумался над птичьим этим словечком, как у неё в руках оказалась небольшая безобидная штучка с боковыми губками. Пока я гадал, что эта за кочерёжка, зуб деревянно хрустнул и со стуком упал в ванночку. С разрешения врачихи я прибрал его в карман.

В коридоре от одной крепкой и разговорчивой бабки я услышал, что после дранья зуба очень хорошо «морожено». И вот, щупая языком кислую кровавость ямки, я начал канючить, что хочу мороженого. Понятно, что «не сразу, а вечером дома», но всё равно мороженое, «Ленинградское», в шоколадной обкладке. С плотным, ярко-белым нутром, в несовместимости которого с кровавой лункой было что-то великолепное.

Бабушка страшно не любит ходить со мной в магазин и старается оставить в каком-нибудь скверике, где я, по обыкновению, пытаюсь потеряться. Если скверика не оказывается, то, конечно, «тащит по магазинам», предупреждая, чтоб я ни обо что не «мызгался», «не обтирал» поверхности и «не собирал микробов», ну и ничего не «клянчил». А я клянчу тресковые палочки, мармелад и «Ленинградское» мороженое в шоколадной обкладке. И изредка перочинный ножичек.

И вот зима. Сумерки. Саднит зубная рана.

Ради одного мороженого бабушка в магазин не пойдёт, и я попадаю на поход за продуктами. У нас два магазина – один на Серпуховке, на нашей стороне, другой – на той. Он называется «Под часами» за большие круглые часы, словно будильник, вывешенные над тротуаром. Начинаем с него, поскольку идём от Житной. Я его называл рыбным, потому что там на стенах морские раковины – ребристая лепнина в виде карманов, над которыми горят светильники. Несмотря на океанский рыбный дух, отделы там имелись и мясной, и молочный.

Заходим в пахучий и первозданный дрызг, связанный с полнейшей оптовой натуральностью всего, что там теснится, начиная от свиных и коровьих туш и кончая живыми карпами, которых выуживают сачком. Под ногами мокрые опилки, их сгребает деревянной шваброй уборщица в чернильно-лиловом халате.

С опилками связано ощущение талого снега, который все тащат на ногах, и чего-то густеющего, зимнего, глубинного, что связано с приходом вечера в город… С переходом, который случается в момент загорания фонарей, когда за секунду целая пора сменится, и накопленный день, прежде чем обратиться во что-то блистательно сверкающее, осадит тебя вдруг тяжестью.

В опилках я вязну, и приходится ступать по выпуклой толще, противоестественно мягкой под подошвой. Уборщица истово орудует шваброй, и ручка угрожающе замирает возле боков и животов покупателей.

В зале крепкий и свежий рыбный запах. За стеклом на прилавках белая севрюга горячего копчения, мраморная с прожилками, и чёрная икра в наклонных ванночках – паюсная и зернистая. Икра такая изредка бывает на столе. Зернистая мне не нравится – как всё скользкое, мягкое, противное детскому естеству, а, наоборот, твёрдую и будто подсохлую паюсную в ястыках – я люблю. Икра на столах нечасто – её брали «для ребёнка», а сами не ели.

Бабушка покупает наши любимые тресковые палочки в коробке, но нам нужна ещё колбаса, и мы идём в мясной. Здесь тоже целое царство. На стенах картины разделки туш «на сортовые отрубы» – свиной, коровьей, бараньей. Границы частей жирно прочерчены, и туши будто перетянуты верёвками, а свиная – как толстая бутыль и мордой как кобура. За прилавком широченная колода, измочаленная до такой волокнистой серости, что края её нависают грибом. На ней рубит мясо огромным топором мужик в белом халате и чёрных нарукавниках. Лезвие длиной едва не в полтопорища. Оставляя ровнейший срез мяса, костей и жил, оно с одного удара рассекает оковалок до колоды, глухо в неё ударяя.

В молочном отделе смешанный запах свежего мяса, молока и чего-то сывороточного-сырного. Высокий и узкий ковш, которым разливают молоко из фляг, – в жирной молочной плёнке. На прилавке грубыми пластами – разные сорта масла. На слуху «Вологодское», белое и отборно-добротное. Ещё шоколадное, которое мы никогда не покупали, и оно так несбыточно прошло сквозь раннее детство, как перочинный ножичек.

Продавщица кладёт на весы толстую жёлтую бумагу, на неё кусок масла. Бумага крылато торчит в стороны, а продавщица держит длинный нож на отлёте и смотрит на шкалу. На прилавке штырь, на который надеваются чеки.

Лежат сыры, копченья, буженина, колбасы. Среди них какая-то толстенная языковая, пятнистая, которую однажды купила бабушка. Колбасу и сыр брали понемногу, «грамм» двести-триста, и такую порцию могли по просьбе порезать.

Переходим Серпуховку и идём в самый известный магазин: «У Ильича». При этом названии мне почему-то представлялся чёрный каравай, который держишь под мышкой и отрываешь от него пахучий кусок. Может, из-за созвучия с куличом или кирпичом чёрного хлеба.

Если рыбный сочный, дрызглый, то в «Ильиче» дух сухой и какой-то цветной, сродни конфетной бумажке. В кондитерском конфеты, из которых самыми дорогие и вкусные – «трюфеля». Торты «Сказка» с цукатами… Сливочное полено – плотное в продольную риску и цвета варёной сгущёнки. Постный сахар кубиками с крошечкой на гранях – то розоватый, то белый, а то какой-то бледно-зеленоватый, мутным светом напитанный. Сливочные помадки, мармелады.

У «Ильича» бабушка покупает хлеб – белый батон и чёрный, обязательно «обдирный», пряный с кислинкой.

Был ещё овощной, где картошка с грохотом ссыпалась по дощатому жёлобу в сумку. Ещё «бакалея». Я толком не понимал, что это такое, и, хотя там продавались сухие съестные товары – чаи и приправы, почему-то думал, что это связано с табаком – «табак – бак – бакалея».

От «Ильича» идём мимо табачного ларька. Кроме папирос и сигарет там те самые слоёные перочинные ножички – толстенькие, с кучей лезвий и приспособ.

«Север» и «Прибой» у меня были связаны только с бабушкой, и досадно было, когда я в школе услышал куплет:

Хороши в палатке сигареты,
Ещё лучше «Север» и «Прибой»,
Выкуришь полпачки, встанешь на карачки,
Сразу жизнь покажется иной.

О моём отношении к куреву бабушка писала: «Мишка о папиросах: «Мне скажут «кури», а я возьму папиросу, будто курю, а курить не буду». Прочла мораль, подходящую случаю: о храбрости духовной».

Раз уж речь о магазинах, нельзя не вспомнить необыкновенно породистый «Гастроном» на Валовой. Он располагался внизу высокого и запредельно плоского дома, первый этаж которого выложен был гранёной коричневой подушкой, очень роднящий его с бежевыми конфетами-подушечками. На магазине были крупные и косые красные буквы: «Гастроном», и я поначалу читал эту надпись как «Тастроном», принимая «Г» за «Т». В «Тастрономе», как войдёшь, слева здоровенный медведина пил сок – поднимал и опрокидывал в крашеную пасть стакан. Все ребятишки ходили медведя смотреть. Наискось от медведя сок продавался за прилавком в стеклянных конусах, томатный, виноградный, яблочный. Всё это многоцветье было за пределами нашей жизни, угощать меня, поить в магазине бабушка считала дурным тоном и всегда говорила: «Придёшь домой – попьёшь». Да и не особо я зарился за всю эту вкуснятину, она далеко была, там же, где шоколадное масло и слоёные ножички.

За табачным ларьком наша цель – ларёк с мороженым. Про мороженое у бабушки свой рассказ: как приехал иностранец в зверский мороз и дивился, как девчонки идут с мороженым и хохочут на всю Серпуховку.

Ларёк на Серпуховке особенно и хорош в мороз – крашеные неказистые рамы и заросшие льдом окна, сквозь которые не разобрать названия пачек. И продавщица в халате, надетом на что-то огромное, пухлое. И талые кругляши по индевелым окошкам. И тусклый свет. А в кругляши видно продавщицу частями, она то пошевелится, то замрёт и будто живёт там.

Сортов много. Пломбир в вафельном стаканчике, с нежнейшим сливочным вкусом и кремовой розочкой: розовой или жёлтой. «За двадцать восемь» колбаска с шоколадной оболочкой, пупырчато осыпанной орехами. На палочке эскимо – брусочек в шоколадной корочке. И не менее великолепный брусочек в шоколаде – «Ленинградское» за двадцать две копейки. Его мы и купили.

Болела челюсть, но я плёлся, не сдаваясь, зная, что в сумке у бабушки «Ленинградское». Дома бабушка положила мороженое на блюдце – подоттаять. Я не удержался и отвалил шоколадный бортик, и оно дало белую лужицу по блюдцу. Наша кошка Мяка тигрового окраса оживилась, подошла и заинтересованно прогладилась о мои ноги. Когда я уже взялся за ложку, бабушка вдруг задумчиво сказала:

– В войну привезли к нам в Юрьевец в эвакуацию ленинградских детей. Идут они по улице бритые (вши же), худющие, как скелеты. И вдруг кошка перебегает дорогу. И тут они как закричат: «Кошка! Смотри, кошка!»

Я представил всё: и колонну по двое одетых в серое худющих подростков, и юревецкую деревенскую улицу, и как прокатывается это: «Смотри, кошка!» – ветерком по измождённой этой поросли… Всё, как живое, видел. Но не понимал одного – при чём тут кошка:

– Они что – кошек не видели?

– Нет.

– Почему?

– А съели в блокаду.

Хорошо устроена память – ощущение, что всё ладно да гладенько и ты молодец: помесь покладистости с созерцательностью. Однако бабушкин сказ о зубном походе выглядит иначе: «25-го Мишке вырвали ещё один зуб – распухла десна, выросла шишка. Что там было, не знаю. Дома орал, что не пойдёт. Надену башмак – снимает, завяжу – развяжет, насилу натянула пальто. На улице замолк, в троллейбусе – забыл, в очереди был спокоен и без единого звука дал вырвать. Дурак, я чуть инфаркт не заработала, с такой лошадью боролась. Почему-то в острых случаях я абсолютно спокойна, а мелочи – доводят немыслимо».

Горка

1

Вечер, темно, на Втором Щиповском пылает домишко. Мы стоим в толпе, и бабушка говорит: «Костром горит». Я не ощущаю ни страха, ни горя, ни сострадания к погорельцам и вижу только одно – торжествующий огромный костёр, и, как обретение, беру его с собой – в память, в дорогу.

Утро. По радио звучит песня «Солнечный круг», и бабушка кривится: её возмущают слова: «Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я».

– Опять «я». И солнышко, чтоб грело… Ну и, конечно, мамочка – чтоб кормила. Тоже мне пуп земли… Запомни: «я» – последняя буква алфавита. Всегда говори: «Васька, Серёжка и я».

Я умом понимаю бабушку, но с головой погружён в ощущение, что всё вокруг, включая пожарное зарево, – моё и ради меня, и нет ничего, кроме моего сверкающего окоёма, и что бабушка – его часть и всё на свете управит.

К этому времени стену давно сломали, на пустыре закончилась стройка, и Мишка переехал в новый блочный дом. Тот Двор наполнился целой ватагой, к которой мешалась ребятня из соседних избёнок. Ватага была рыскучей. Лазили везде. Нашли мы в кирпичном сарае, на чердаке, залежи ламп дневного света, длинные мутные трубки. Вытащили их, аккуратно передавая друг другу, слезли и стали кидать в кирпичную стену дома. Стена была без окон – мы высоко целили, и лампы летели, вращаясь, и если попасть всей плоскостью, то разбивались с великолепным хлопком, оставляя на стене белую полосу.

Жизнь Того Двора кипела вкруг горки. Мы не запоминали, не знали, кто её строил, кто заливал… Всё будто само творилось… Светлый сизо-зеленоватый лёд, дощатые бортики – скрипучее единение дерева и льда. Горка поскрипывает, чуть ходит, и лёд будто держит доски.

Однажды я катился с горки на санках, и большой палец попал под полоз. Бабушка кровавый ноготь забинтовала и сказала: «Теперь сойдёт», а я не понял: «Как сойдёт?» (Не снег всё-таки.) – «Так и сойдёт».

Кто поменьше – катились на картонках и санках, постарше – лихо съезжали стоя, балансируя и выправляясь, когда ставит совсем боком. В конце ледяного языка, где он терялся в снегу, полёт обращался в почти комичную побежку.

Бывало, карапуза развернёт в конце ледяной дорожки. Он замешкается, отползая на снег, пытаясь ухватить заледенелой рукавицей картонку, та отскальзывает по льду, он тянется, а тут кто-то большой, истошно крича: «Ээээ! Отход, малой!», сметёт малыша, да и сам завалится, смешно заперебирав ногами.

Обязательно какая-нибудь поперечная карапузная душа ползёт по горке против движения вверх, цепляясь за бортик, не обращая внимания на возмущённые крики и толчки несущихся с горки. Или вдруг все начнут тоже с разбегу залезать на горку по ледяной дорожке, падать и снова лезть. А кто-то не успел съехать, отпустил картонку, и она несётся, пустая.

Здоровые лоботрясы, подгуляв, завалились на горку, и несколько раз скатились с режуще-басовитыми криками: «Жекаааа! Жекааа! Давай!» А долговязый неуклюжий Жека поехал и упал. Встав, деланно застонал и, держась за крестец, матюгнувшись, отковылял с ледяной дороги под дикий хохот. И откуда-то ещё колоссальный, толстый дядька взялся, еле забрался на горку и полетел… Снарядом, глыбой, ядром вынесся по ледяному языку и, вспоров снег, с грохотом врезался в ржавый гараж. С гаража рухнул на него пласт снега. Лёг весь двор.

А девочку звали Наташей. Она каталась на саночках – в белой шапочке и синем пальтишке. И в очередной куче-мале меня прибило к ней, и я шарахнулся лицом в ледяное её личико, в зубки, и потом всё старался рядом с ней забираться на горку и ехать рядом. Как-то вечером мы остались с ней вдвоём, и она сказала: «Хочешь, покажу тайну?»

Обычно девчонки всякими секретиками мучили: «Пойдём секретик смотреть», – землицу раскопает, там стёклышко, а под стёклышком цветные фантики. Да малахольный Алёша всё приставал к нам с Мишкой, будто знает «военную тайну». «Что за такая тайна?» – пытали мы его, а он после долгого упирания и хихиканья сдался: «А Наташка сказала, что вы… вы-ы-ы… эта… что вы дулаки».

Наташа оставила санки и, взяв меня за руку, повлекла на горку. Вечер был ясный, а тайна оказалась в том, чтоб съехать с горки на спине, а потом так и лежать на ледяной дорожке и «смотреть на звёздочки».

Чувствую, как складываются зимние эти девочки в один образ, святой и прекрасный: темнеющая округа, синее пальтишко с белым пушистым воротничком и белая шапочка… Где ты, моя хорошая? Какие звёзды мерцают над твоей головушкой? Помнишь ли детство?

Оно выдалось безгранично счастливым, несмотря на все беды, которое испытывало многострадальное наше государство. Мне даже кажется, что его последующее ослабление случилось именно из-за нас – слишком многое было упущено, чтобы нам взрослелось спокойно. И эти годы – сами как горка: за полвека не было счастливей поры у нашего народа…

2

Из домишки, прилежащего к Тому Двору, был один Чернышёв, года на два меня старше, крепкий, с худощаво-широким ликом и смолёво-смуглый. Есть такие лица – ещё и с пятном где-нибудь на щеке, словно от избытка смоли. На горку пришла Наташа, и я нарочно устроил свалку, чтобы снова к ней притолкнуться. А потом начал толкаться уже на самой дощатой площадке. Между Наташей и мной оказался как раз тот самый малахольный Алёша. Я грубо его толкнул, а Чернышёв на меня прикрикнул. Я ответил, завязалась перепалка, и я крикнул: «Черныш чёртов!» Выражение «чёртов» я перенял от бабушки и им словно продолжал её всевластие.

– А ну, проваливай в свой двор! – рыкнул Чернышёв и прогнал меня в шею. Я попёрся с санками домой и, веря во всесильность бабушки, доложил о несправедливости и заставил навести порядок. Бабушка притащилась со мной через лаз, вернула справедливость и ушла домой.

Довольный, я скатился с горки. За мной следом на ногах слетел Чернышёв, опрокинул меня и, локтем придавив шею, вжал в снег: «Ну что? Бабка-то дома. А ты тут. Так что не выдрыпывайся. Пока я добрый. По-о-онял?» Я действительно понял.

3

Зима постепенно заканчивалась, снег таял и таял. И с моим лиловым ногтем тоже что-то происходило таинственное, он словно задышал. Я проковырял иглой почерневшую, исшорканную корку: под ней нарос молодой и чудный розовый ноготь…

Уже текли ручьи вдоль мостовых. Мы пускали спичку и бежали за ней, и по ребристым треугольникам мутной воды она неслась и исчезала в решётке. На оттаявшей пахучей земле мы играли в ножички. Их было несколько разновидностей, включая сложнейшие «ордена и медали», где участвовала ещё и свинцовая бита-кругляш. Не помню вовсе… И никто, видно, не вспомнит…

Только запах оттаявшей земли, воткнутый треугольный ржавый напильник и жар на лице.

А потом завязался розовый воздух в поднебесье и настала знакомая праздничная пустынность… И когда тишина достигла эховой силы, то стал слышен далёкий и раскатный гул. Это со стороны Чернышевских казарм по Серпуховке и дальше, по Ордынке, шли на парад танки.

Все ходили их смотреть – так и называлось: «пойдём на Ордынку смотреть танки».

На Ордынке вдоль мостовой стояли людские берега, дети сидели на плечах, на пиково острых железных заборах, на деревьях…

– Смоли, «анфибии»!

Несмотря на плотнейший людской барьер, мы с Мишкой обязательно оказывались около мостовой и, дрожа от нетерпенья, вперивались в даль улицы, невидную и будто туманную.

Гул невидимой колонны рос и близился. И наконец *они* появлялись – зелёные какой-то особой зеленью, с животворной примесью желтизны. Бабушка называла этот цвет болотным, и мне он очень нравился за природные истоки.

Сначала ехала по Ордынке какая-то колёсная мелочовка, потом колёсные же «анфибии» и бронетранспортёры, потом, наконец, танки, потом ракеты. На ракетах мне становилось скучно – по сравнению с танками, они представляли собой лишь нечто транспортно-инженерное, и поддерживало интерес лишь нарастание размеров.

…Сухой лязг гусениц по асфальту. Сильнейший синий дым, звёзды на броне, остроконечные, выточенные, с прямизной линий, лучевых треугольников, обрамлённых жёлтой каёмкой. И кругло, отдельно торчащая голова механика-водителя в шлемофоне – как чёрная фара. Она настолько внизу, что непонятно, куда помещается остальное тело. Башни у танков выпуклые с боков и неровные, словно их ляпали с размаху из огромного зелёного теста и наскоро правили шершавым мастерком.

И вот проходит последняя ракета, огромная зелёная труба, в которой меня волнует только мощнейший тягач… Потом через промежуток проносится какой-то ошалевший газик, и всё…

И шевеление начинается в людских берегах, и нас выносит на площадь, где народ разбредается… И снова простор, и празднично-пустынно, и где-то вдали затихает грохот, и мы идём по отпечаткам гусениц, белёсой крошке. И стоит запах выхлопа, уже слабый, но такой терпкий, что кажется, синий дым ещё висит волокнами над оживающим городом. А розоватая дымка уже до совершенства настоялась на серебряном поднебесье.

Был у бабушки специальный один голос. Он негромкий и чуть ниже обычного. И с торжественной почти шершавинкой, но не перерастающей в явную дрожь. И вот мы идём по пустой улице, и смесь музыки и дымки сеется с неба, и бабушка вдруг говорит, что в 41-м году танки с парада с Красной площади «прямо на фронт пошли». Меня это поражает. Танки, как живые, решили с завода совсем попутно на парад заскочить. Проведать площадь напоследок… И эта решимость – часть какой-то огромной и тягучей силы, завладевшей нашей землёй в те туманно далёкие годы и спасшей её от погибели. И я ещё крепче держу за руку бабушку и не понимаю, какое считанное число лет отделяет меня от Победы.

А бабушка вдруг начинает говорить, что, когда я вырасту, придёт совсем другое время и я стану очень занятый, и мне совсем не до неё будет… А я чувствую, что и в моём голосе вот-вот завяжется шершавинка, что надо успеть до неё, пока совсем не свело скулы, и говорю: «Бабушка, я всегда с тобой буду». И бабушка тоже хочет что-то сказать, но не говорит и только отворачивается и сжимает мне руку…

Потом мы с Мишкой и Чернышёвым лупили битой по чижику, и чижик был обоюдоострый, кто не знает, и острия эти имели необыкновенно чёткие грани. А девчонки играли в «классики» на асфальте, и мы тоже иногда перетекали к этим классам, расчерченными розовыми или белыми мелками. И блажь стояла в воздухе, и мама говорила: «Теплынь».

И бабушка уже говорила о деревне, о том, что меня надо пораньше забрать из школы. И что уже договорилась с Екатериной Фроловной.

И мне снится первый мой сон, который я осознаю и запоминаю: будто огромная и довольная морда электрички оказывается в нашем дворе, как раз в районе лаза. Очень хорошо показаны огромность и круглость морды и уменьшение, сход состава в перспективу, дающее что-то летящее, полное надежды и шири. И я восхищённо повторяю первое в жизни толкование сна: что, оказывается, во сне соединяется то, что волнует тебя в жизни, что тебя окружает, – вот, например, наш двор и моё ожидание дороги. И что вписана дорога в моё окошко, в мой дом и двор, с которым я сросся до самых тополиных корней.

Хутор

1

На Москве-реке в Игнатьеве мы жили два лета.

Долгожданную туда дорогу помню мазками. Ожиданье на Белорусском вокзале на платформе. Теплынь, солнышко и дорожный запах шпал. Круглая морда электрички, которая не стоит, не ждёт нас у перрона, а приходит – с какой-то Каланчёвки. Просторные вагоны с деревянными сиденьями на две стороны… Бабушка обязательно ищет «немоторный вагон, чтоб не рычало». И в самом вагоне тоже поиск – чтоб сидеть «по ходу».

Разлётный вой электрички, полоса несущегося травяного откоса с мазаниной одуванчиков. И вот станция Тучково, площадь и посадка в автобус в какое-то Кулюбякино. И болтанка, и наконец мост через Москву-реку и выход из автобуса. И название – Поречье… Освобождающее, вольное… И уезжающий на гору автобус. И тишина, словно ждущая, пока он скроется. И тогда обступает – огромная, дышащая, живая.

Грачиные гнёзда на липах, ветерок тёплым опахальцем. Предельная какая-то свежесть, острота всего, что вокруг. Грачи не каркают, а издают глубокий, объёмный и ликующий воркоток. Бабушка тащит два узла – «наперевес». Узлы из каких-то покрывал. Идём вдоль речки, вот и деревня, и полоса огорода под капусту и картошку меж рекой и домами. Только вспахали, и вывернутые пласты земли – выпуклы и металлически-лиловы. Из них блестящие скворцы тянут червей, переговариваются жирно и довольно.

И ощущение, что мы опоздали на что-то важное, на весенние события, свеже-студёные, живящие, и ты будто виноват, что не жил здесь всегда, не делил зимы-весны… И все повторяют, что «смыло лавы» – мостки через Москву-реку на столбах. Женщина в огороде распрямляется и сходу начинает разговаривать с бабушкой, маша рукой на реку. Мне кажется, что она говорит очень громко. У неё платок узлом назад, и платок съехал, и видна полоска лба, молочно-белого по сравнению с лицом, нажаренным солнцем в какие-то первые жгучие дни, так что загар уже глубокий, закрепившийся. Я замечаю всё, что вокруг, но бабушку будто не вижу. Я просто при ней, а она рядом, как тёплое дерево.

2

Утро. Просыпаюсь в незнакомой комнате и вижу в окне яркий лучисто-жёлтый свет солнца. И осознаю, что никто меня не будил, а что я сам проснулся от полноты жизни.

Выхожу во двор.

Там дядя Паша Горчаков – наш хозяин, сухощавый, небольшого роста. Ходит без рубахи и в кепке: кисти в перчатках загара, такие же лицо, шея и под ней красно-коричневый клин на груди. Белое в синеву туловище со поперечной складкой под грудиной в районе поддыха и под

ней выступающий белый живот. На боку живота внизу гнутый с росчерком малиновый шрам – ударило вылетевшей доской на пилораме. Хромал – ранило на войне.

Когда мы приехали, дядя Паша как раз заканчивал стройку, забирал углы досками и красил тёмно-зелёной краской. Мне очень нравился цвет и то, как дядя Паша работает. Всё, что он делал, я почитал за эталон. В завершение он выпилил и наличники и покрасил зелёным с белыми завитками. Сам сруб тоже был забран дощечкой в ёлочку и крашен той же зелёной краской. Я думал, что тёсом называется как раз ёлочка.

Дядя Паша вытаскивает иголкой занозу – и мне диковинно, что он не ковыряет, а гладит плоско иголкой, задирает её, наклонную, и будто выманивает, а заноза вылезает и топорщится. Пахло от дяди Паши смесью опилок, какой-то заквасочной кислинки и пота.

Что-то мужики делали возле нашего дома во дворе, не то варили, не то раствор месили, и я при них вертелся, тоже что-то излаживал. Был Сева, молодой парень из города в белом свитере с воротом. Он настолько рьяно участвовал, что загваздал свитер, и все его осаживали: «Сева, Сева! Ну что же ты… Эх…» Бывалый один мужичок меня привечал и в работе между трудовым покряхтыванием нет-нет да и обращался ко мне или просто одобряюще подмигивал. Я не то напевал что-то, не то бормотал, и он спросил: что, мол, за бубнёж? С кем говорю? Я отвечал, что сам с собой, а он качал головой: будешь сам с собой разговаривать – «бэ-э-эстро… шарики за ролики зайдут».

3

Иду по двору. Тянет пружинистый ветерок, пахнет дымком и навозцем. Забор, воротца на улицу, на столбе скворцы в скворечнике. Через улицу луговина, поле и лес на пригорке. На луговине стреноженные кони – с путами на передних ногах. Срывают траву с громким и резким хрустом, и я не понимаю, чем они производят такой звук – как полотно рвут. Конь обирает траву перед собой тщательным полукругом, голова двигается то правее, то левее, и хруст гулко меняет тон, отдаляется, приближается. Время от времени то один, то другой конь отрывается от травы и, оглядевшись, перепрыгивает вперёд, высоко поднимая спутанные ноги. Этим движением он напоминает мне детских коников, их бодрое качание на полозьях, и большие живые лошади тоже кажутся частью детства, подтверждением запредельной сказочности происходящего.

Луговина перед домом. И на ней коровьи лепёшки с мухами настолько рыжими, что кажутся вечно подсвеченными солнцем. Сидят друг на друге, и я называю их «двухэтажными мухами», а взрослые смеются и глаза прячут. На лепёшке дождевая лужица – сбоку зеркальцем, а напросвет жёлтая.

Я зазеваюсь на коней и влезу сандалькой в лепёшку, и нутро лепёшки под корочкой окажется ярким, жёлто-зелёным и остро пахучим. Проскользжу, промажу дорожку по траве и чуть не упаду. Подошва противно-скользкая, никак не вытру.

Запах свежего навоза особенно въедлив после дождя, когда ещё и комары повылезут на мокрые голые ноги. И один белёсо-рыжий, злючий вопьётся в коленку, где поверх ссадины зеленеет смазанный травяной след – елозил по траве на коленках.

4

Сегодня сухо и солнышко. Я смотрю на коников. Подходит быстрой походкой бабушка, берёт за руку: «Пойдём на Хутор».

Над деревней сосновый бугор и за ним поле. На бугор колеи в сухой траве. По ним мы и идём. Бабушка наклоняется, показывает: «Тимофеевка, лисохвост». Травы она знает, и ей нравятся названия. Поднимаемся на сосновый бугор. Под ногами шишки. На жаре раскалён-

ная палая хвоя пахнет сильно и терпко. В кронах всегда ровно и отстранённо шумит ветер. Бабушка останавливается: «Видишь, верхушек нет». На некоторых соснах они действительно грубо сбриты, оторваны. Бабушка говорит, что за рекой стояла наша батарея и била по немцам.

Идём дальше – то по опушке, то по полю. Вдоль дороги разорванные гильзы от снарядов, с передней части они расщеперены, изогнуты, как щупальцы. Видимо, рядом рванул боекомплект или склад. Никто не берёт их, не тащит на память, и они лежат, как придорожные камни. В некоторых местах на опушке заросшие ямы от снарядов. Бабушка идёт быстро, и я отстаю, то у снаряда задержусь, то просто канючу.

За бугром поле поднималось к лесу, мы идём по опушке и подходим к хвойному месту – ёлки, сосны сбились как-то особенно семейно. Бабушка останавливается: «Хутор».

5

И тут сквозь слои заворожённости, вечной тягуче-медовой обкладки, в которой я пребываю, до меня доходит: оказывается, бабушка здесь жила раньше, да ещё с детьми! И, выходит, домой пришла!

Во мне, будто глыбы, ворочаются пятна времён, и я понимаю, что здесь, среди леса когда-то давным-давно стоял дом Горчаковых. Тех самых дяди Паши и тёти Дуни, у которого мы сейчас живём, но только молодых. Почему они отсюда переехали – не понимаю, наверное, в Хутор попал снаряд. Почему бабушка жила у Горчаковых, не понимаю, но чувствую одно: что мы все родня, все связаны.

– Вот здесь крыльцо было. Нет, здесь. Там вот сарай. Сеновал. Витька сарай поджёг. Кланькин брат.

Кланька и Витька – горчаковские дети.

– Как поджёг?

– Так поджёг. Со спичками играл. Сарай сенной. Там сено было. Поджёг и в лес убежал со страху. Спрятался. А все думали, он там, в сарае.

– А он?

– А он в лесу. Прятался.

Мне всё не даёт покоя Витька.

– А потом?

– Потом пришёл.

– А сарай?

– Сарай сгорел.

– Его ругали?

Бабушка отворачивается…

Солнышко снижается, густеет, горит на соснах… Всё это неподъёмно… Война, бабушкины дети, мама – одна из них… И так далеко, сложно, но каким-то странным образом… оно уже моё. Рыжим закатным солнцем его в меня впекает. Постепенно, задумчиво.

На Хутор мы с бабушкой ходим постоянно. Место заросшее и почти ровное. Никаких почему-то развалин. По краю земляника. Под соснами кошачьи лапки, и мы там сидим с бабушкой. Она берёт книжки и читает мне вслух. «Как муравьишка домой спешил». И нам особенно нравится, когда муравьишка кричит землемеру: «Стой, а то укушу!» Когда на дороге я устаю, а бабушка уходит, я тоже так кричу, и бабушка смеётся.

Лет в двадцать я приехал на это место зимой и у костра выпил бутылку водки. Снег, солнце, сухое сосновое пламя. Замёрзшая до индевелого просверка колбаса. Бабушки уже не было. От выпивки она всю жизнь оберегала меня, как от огня. Но, думаю, на этот раз простила.

Остальное восстановил позже, хотя так и не узнал, кто познакомил бабушку с Горчаковыми и их хутором, где она с детьми три года жила летом до войны. В 1937 году дом на Хуторе

сельские власти перевезли в Игнатьево. В 1941 году в районе Игнатьева шли страшнейшие бои. Снаряд действительно был, но попал он не в Хутор, а в дом Горчаковых уже в Игнатьеве! Дом сгорел, и дядя Паша отстроил глиночурочную избёнку, где они зимогорили до стройки нового дома. Мы жили уже в новой избе, и дядя Паша при нас обшивал её тёсом.

Избёнка-глиночурочка меж тем была замечательна: стены сделаны из чурок-тонкомера и поленьев, положенных поперёк, и стены выглядели как кладка из треугольников и кругляшей на глиняном поле. Вид был очень исконный, и, думаю, дом был теплейший.

Помню, на пороге этой избёнки стоял радиоприёмник дяди-Пашиной молодой родственницы, возможно, той самой Клани, и на фоне глиняной стены с древними глазами-торцами вдруг взгорланило: «Эй, моряк, ты слишком долго плавал…»

6

Никогда не чувствовал я так деревенского умиротворения, как в те годы. Естественное счастье просыпания. Постепенность распаляющегося зноя. Единство и моей, и окрестной услады…

В жару вдруг начнёт блажить корова – с переливом в октаву. Овечки, семеня, перебегут крепким и кудрявым облачком, блея на разные лады и твёрдо сыпля блестящим горошком. Снёсшаяся курица вдруг заорёт, или петух найдёт съестное и закудахчет по-особому дробно, на одной гулкой ноте, сзывая куриц, и они побегут сломя голову. Особенно смешно бегут большие рыжие – размашисто орудуя ляжками и наклонив вперёд головы.

Кину кусочек, чтоб курица видела. Она заметила и осторожно приближается, вот сделала шаг и сыграла взад-вперёд шеей, ещё шаг – и ещё раз туда-сюда сходила любопытная голова, будто приводком соединённая с ногами. Курица на меня косится и поворачивает голову в несколько острых отрывистых движений. Я вижу светло-карий глаз, который смаргивает нижним веком, на долю секунды оказывается затянутым и получается дурашливое дохлое выражение. А потом клюёт хлеб и её гребешок трясётся, свешиваясь набок. А на проводе поёт ласточка-касатка, и бабушка говорит, что она в конце песни завязывает узелок. И надо всем этим вдали безмятежно рокочет трактор.

К вечеру стихает шум, медленно и тягуче проходит по деревне стадо, обдавая молочно-навозным чадом и слепнёвым гудом, звонко брякает ботало на рыжей комолой корове… и снова тихо. Изредка ребятня где-то закричит. Телёнок замычит совсем по-детски. А потом слышно только, как дядя Паша отбивает косу в огороде. Чуть темнеет, стелется туманчик по луговине и кричит вдали коростель. Будто по огромной и пересохшей расчёске дерут гвоздём.

Бабушка уже сварила на керосинке кашу, покормила меня, и я лежу на своей кровати, а она читает вслух «Как муравьишка домой спешил». Насекомых я вообще люблю, и мне хочется превратиться в кузнечика и сидеть в травах, чтобы тимофеевка и лисохвост были высокими, как сосны. Читает бабушка и «Жизнь насекомых» Фабра с фотографиями. Ещё была книга «В стране дремучих трав», на которую я питал большие надежды, но мне, пятилетнему или шестилетнему, она показалась заумной, тем более и героя звали Думчев.

Читали мы «Руслана и Людмилу», «Сказку о царе Салтане». И, конечно, повторялось бесконечно «У Лукоморья дуб зелёный», картины которого, не вмещаясь в детский кругозор, только сильнее поражали: как служит бурый волк царевне? Почему бурый? И почему колдун несёт богатыря? И почему так страшно, что именно перед народом?

Ещё была какая-то бабушкина своя ненаписанная сказка, начало которой она любила повторять – очень задумчиво, грустно и мечтательно: «Далеко-далеко за речкой…»

7

Бабушка никогда не называла в одно слово «Москва́река», «пойдём на Москварику». Нет. Всегда неспешно – Москва-река́.

На Москве-реке вместо смытых лав уже стоят высокие свеже-жёлтые деревянные мостки. С них мы с бабушкой смотрим на воду. Течение несильное, глубина небольшая, желтоватое дно с крошкой известняка, длинные и волнистые водоросли, про которые бабушка говорит, что это волосы русалок. И сама улыбается почти восхищённо…

В оконце меж русалочьих прядей стоят рыбки, поигрывая тельцами. Для меня открытие, что тельца такие узкие, ножевые и что рыбки держат их вертикально, не заваливаясь на бочок.

Бабушка – речная душа. На море она была один раз, в детстве, и никогда не вспоминала. Не любила пляжный зажар, курортный дух, жила среднерусскими речками и детства без них не представляла.

Бабушка хорошо плавала. Обычно детвора и женщины гребли по-собачьи, а бабушка имела свой стиль – что-то среднее между кролем и сажёнками. Сажёнки (её слово) не раз показывала, очень размашисто и как-то тягуче закидывая руку через верх и кладя набок голову, поворачивая, словно собираясь обернуться, но каждый раз передумывая. Волосы у неё были русые и длинные, для купанья она их укручивала вокруг головы, закалывала шпильками. Однажды замочила волосы и очень огорчилась. Став вдруг неожиданно серьёзной, с потусторонней почти решимостью пресекла мои липучие приставания, мол, бабушка, что случилось, волосы намокли, ну что тут такого?

Купалась бабушка в беззащитно розовом купальнике, набранном из мелких мешочков. Очень белая, стройная, в воду шла, напряжённо щурясь и водя по поверхности руками.

Любила утра и вечера, тогда мы и купались, и мылись, и стирались. Хорошо помню стылое намыленное состояние и беспомощную и виноватую сутулость, с какой намыленный входит в воду. И как плохо мылится мыло, и хлопья уносит теченьем. А бабушка говорит, что вода «жёсткая», и я не понимаю, как жидкое может быть жёстким.

Тихими и задумчивыми были речные вечера. Боковое рыжее солнце с сеевом мелких лучиков, с золотыми иглами совсем подле глаз. Комары, подлетающие неверным шатучим табунком. Я их шлёпаю, а бабушка говорит:

– Ты одного убьёшь, а десять тебя укусят.

– Ну я же его убью!

– Убьёшь. А тебя десять укусят.

И я не понимаю, почему, если меня укусят аж десять, то их шлёпать нельзя.

Редкая грусть подступала ко мне в такие вечера. Она будто не во мне рождалась, а в окрестности. Завязывалась и выводилась в особенно сырых, тихих местах, и только когда уляжется ветер, проливалась, стелилась туманом, серебряной росой садясь на подстывшую детскую душу.

Бабушка в то лето, как заворожённая, бродила со мной по Хутору и его окрестностям. Там был тёмный и высокий ельник с запахом прели и грибницы. По нему шла дорога, две лиловые колеи, кое-где присыпанные сухими иголками. Неестественно зелёная и мясистая трава недвижно стояла промеж колей и по обочинам. Было одно растение, похожее на глухую крапиву, с белыми цветами – небольшими, не то башмачками, не то колокольцами. С неряшливым переходом зелени от лепестков к цветам, и дурманно-тошнотворным запахом.

Однажды мы с бабушкой шли по этой дороге, и в тёмном её конце необыкновенно грустно кричала не то птица, не то зверюга. И мне представлялся имеющий ко мне таинственное и мучительное отношение лисёнок, будто выражающий нечто глубинно детское, извечную незрелость детёныша, бессилье пред огромным миром и звериную тоску потеряться.

Ходили мы и в дальние лесные края, к дубовым полянам, где собирали грибы и где на одной, самой большой, была когда-то деревня и звалась Селиба. Мы с бабушкой любили это название и придумали целое повествование о лесном городище, заселённом говорящим зверьём. Начинала его бабушка словами: «И во-о-о-т…» До поворота к полянам мы шли по линии электропередач, с которой сыпался механический мёртвый стрёкот, очень нелюбимый бабушкой. Потом сворачивали направо.

И во-о-о-от, на обратном пути, выйдя на линию электропередач, бабушка закрутилась и двинулась не в ту сторону. Я настоял, что не туда, показал правильно, и мы вышли к нашему полю.

По пути бабушка решила забрать левее, зайти на Хутор – словно настроить размагниченный свой компас… Шли обратно по дороге через поле напротив Хутора, и я всё канючил продолжить рассказ про селибских зверей, среди которых главным и излюбленным героем был медведина. И снова началось – и во-о-от… И вот звери что-то делают страшно интересное, а медведина причём завёл с летописными целями кинокамеру – и всё снимает. А у бабушки старинные представления о кинокамерах – что надо ручку крутить. И ей самой так нравится мясорубочное это крутение, что она ещё несколько раз показывает-пересказывает: «И снимает. И снимает…»

А потом бабушка всем рассказывала, как я её вывел. И что чувствую направление.

8

Что верно, то верно. Направление чувствую.

Не торопясь и поглядывая на бабушку, подхожу к крапиве, намереваясь за неё взяться. Бабушка предупреждает: «Нельзя крапиву, она кусается». Я гляжу нагло бабушке в глаза и, раскрывая пятерню, нацеливаю на крапиву. Бабушка снова: «Нельзя. Она кусается». Я торжествующе смотрю на бабушку и медленно-медленно сгребаю-комкаю шершавый зубчатый лист. По мере комканья глаза мои расширяются, краснеют, но, так же глядя на бабушку, я выдерживаю фасон и не расхныкиваюсь – по словам бабушки, исключительно из вредности и упрямства.

Или вдруг начинаю нудить, въедаться, цепляться к словам, пытать на оттенки. Бабушка по-утреннему бодрая, добродушная спрашивает миролюбиво:

– Мишастый, а ты помнишь, как ночью петухи пели?

– А как они пели?

– Нет, ну ты помнишь, что они *пели*?

– А что они пели?

Точно знаю, что мало нас драли в детстве. Отец рассказывал для острастки, как его дед, дед Макар, за столом «брал деревянную ложку» и этой ложкой давал «по́ лбу» и что детей будто бы драли по субботам розгами, независимо от того, набедокурили они или нет. Я понимал профилактический резон всыпать оптом и впрок, потому что детвора *обязательно* что-нибудь нашкодила втиху́ю. Никто мне ложкой в лоб не бил и не драл по субботам ни ремнём, ни розгами. Бабушка, правда, иногда брала «хворостину» (её выражение), но применяла изредка, а более пугала. Или «всыпала полотнецем».

9

Однажды мне сильно вступило в живот. Поднялся жар, замутило-зазнобило, и понесла меня бабушка на закорках в посёлок Техникум в больницу по качающимся мосткам.

В слове «закорки» я ощущал родное жужелицино «прыгай ко мне на закорки» и Машенькино сиденье на медвежьей спине в корзине. Качаются мостки, несёт меня бабушка мимо руса-

лочьих волос, мимо стоящих стойком рыбок, ещё недавно таких ценных, а теперь бессильно далёких, отчего только тошнее становится. Наконец мы сходим на берег, и меня начинает так мутить, что я кричу бабушке «Стой!». Но она идёт, и я снова канючу: «Бабушка, стой!» И тогда я кричу наше любимое: «Стой, а то укушу!» – и бабушка умиляется и спускает меня на землю. Меня тошнит… Я лежу на травке… Потом снова закорки, и наконец больница и полумрак кабинетика, холодная в клеёнке койка, и маленькая пожилая докторша щупает «животик» и говорит, что аппендицита нет.

Обратно я иду сам. Переходим мостик. На берегу подходим к нашему знакомому, Григорию Максимычу, высокому пожилому дяденьке в очках и шляпе. Он рыбачит спиннингом на тюколку (кораблик), и у него сидят в бидоне пойманные голавли. Я хочу подержать его в руке и через бабушку спрашиваю разрешения. Мне разрешают. Григорий Максимыч вынимает из бидона голавлика, даёт мне и наказывает, чтоб обязательно в воде держал.

Я держу. Поначалу голавлик жалко вялый, и я ослабляю хватку. Он будто клонится на сторону, но вдруг мгновенно встаёт вертикально и, вильнув хвостиком, вырываясь, уносится, и меня снова поражает вертикальный постав рыбьего тельца.

И опять никто меня не ругает.

10

И снова вечер, кровать, и солнечное утро. На этой самой кровати я дважды испугался треска: снаружи закоротило контакт на гусаке у стены, и с резчайшим стрёкотом посыпались снопами бело-синие искры. И другой раз: лежал после обеда, и вдруг громкий и сухой треск раздался и тут же сыто перешёл в рокоток – наш хозяин дядя Паша завёл пускачом трактор-колёсник.

Кровать однажды куда-то унесли, и я остался без логова. Бабушка, не моргнув глазом, сшила матрасовку, а потом взяла серп, и мы пошли за заборы в низинку жать траву. Бабушка жала осоку, рассказывала о старинной силе серпа и объясняла, как не порезаться осокой. Покос собрала в мешок, высушила возле дома и набила им матрас. Потом мы сходили в лес и притащили сухих ёлок на жерди, из которых она сделала козлы. Пилила ножовкой, коленом сквозь платье придавив жердину, колотила молотком гвоздь… Он трудно шёл в насквозь сучкастую ёлку. Натянула на козлы мешковину, прошила мешочной иглой. Постелила простынь, положила подушку и сказала: «Вот тебе кровать!»

Сладко спал я в этой холстинной зыбке в запахе сена! Под охраной нешкурёной ёлки, сухой осоки… И бабушка лежала рядом на своей раскладушке и наверняка в полутьме смотрела на меня, спящего в козлах. А когда я заснул, вышла под звёзды.

А меня держали в ладонях высохшие ёлки, пеньковая холстина, трава, а я покачивался во сне, ворочался, и поскрипывали не то козлы, не то мостки, по которым бабушка несла меня на закорках в больницу. Ярче светили зрелые летние звёзды, отражаясь в воде. Сонным табунком подошли к берегу рыбки. И голавлик, которого я выпустил, тоже стоял средь русалочьих прядок.

11

Бабушка оставалась бабушкой, а дружбы мои с ребятишками шли своим чередом. Неспешно и природно перетекали мы из одного куска деревни в другой. То дружу с бельскими ребятишками в нижнем конце. Там навесик на песке, и мы сыпем песок в бутылки, а самый старший мальчишка отлично разбирается, где из-под водки бутылка, где из-под «солнцедара». Ребячьих имён я не запомнил, высыпались они из памяти во время беготни. Но был там точно Андрей, потому что старший бельский кричал:

Андрей-воробей,
Не гоняй голубей,
Не клюй песок,
Не марай носок!

Я не совсем понимал, про какой носок, и думал, что про тот, что на ноге.

Ещё ходил в верхний конец деревни, где перед оврагом царил свой пятачок и жило семейство, видимо, тоже дачники-съёмщики и их мальчишка, худенький, но со своим строем, книжным, лирически-манерным. Печально он поведал, что у него был друг, и повёл к ямке, где лежала птичка. Какая-то будто ненастоящая, похожая на механическую, жёлтая, с синими и красными пятнышками.

Приехала к ним целая компания родственников, и мой знакомый сказал, что надо подойти к его старшему брату и протянуть руку: «Михаил». – «Как это?» – «А так. Дашь руку: Михаил. Понял?» Я сказал: «Понял» – и всё выполнил, но на старшего брата это впечатления не произвело. Бабушка сказала, что самому руку совать невежливо и надо дождаться, пока старший тебе сам протянет, если вообще захочет с тобой здороваться.

Во главе со старшим братом и одной заводилистой и некрасивой девчонкой собралась компанийка, и меня позвали на травку играть в «Акулину – красный нос». Дали карты. Я заворожённо взял их и продул игру, и всё радостно закричали, что я Акулина – красный нос.

Наискосок от нашего дома метров двести-триста жила Галька. Выходила с большущим куском чёрного хлеба, обильно намазанным земляничным вареньем, и несла его аккуратно, выдерживая плоскость и не сводя с него глаз. С Галькой мы то ходим не разлей вода, сидим на лесах соседнего сруба и разговариваем, то вовсе не видимся.

Галька жила с отцом и матерью в небольшой избёнке. Потащился, помню, за Галькой, а она домой и в сенки. Видно, сама в себе замлелась, задумалась или, наоборот, решила: пусть за мной побегает. Ныряет в избу и захлопывает дверь перед самым моим носом. Дверь утеплённая на зиму, пристоявшаяся в косяках до плотнейшей притирки.

Дверь почти закрывается, когда я сую в неё большой палец. Кровища, ноготь с ошмётком, в красном сочащемся окладе… Бегу домой, реву, трясётся челюсть, и рёв тоже трясётся, отзываясь на ямку или кочку. Несу палец, по ноготь заполненный болью, боюсь стрясти, пролить, как будто если сберегу до бабушки, то не так будет горько. Бабушка выходит на вой и идёт навстречу… И говорит про солдат на войне, как им, раненым, больно и как они не плачут, а Суворов учит: «Трудно в ученье – легко в бою». Бинтует и рассказывает, как ходил через Альпы Суворов, и от тёплого этого имени становится легче, и мне кажется, что Суворов – бабушкин дед.

Потом душная настала жара, и будто маревом накрыло нас общедеревенской новостью: Галькин отец напился пьяный и застрелил мать «лосиной пулей». Лосиная эта пуля, конечно, была бабьим измышлением, но особенный смысл имела и будто брала на себя часть вины, несмотря на звучащее в ней лесное, таинственно-охотничье. Отца Гальки я не знал и представлял огромным звероподобным мужиком. Очень хорошо помню чад беды, который, как дым лесного пожара, замутил и приглушил солнце, прижёг листву и, как жаром, охватил голову, и болел я вместе с округой.

Совсем недавно узнал, что девочку звали вовсе не Галька и что, когда мама моя шла к нам с автобуса, маленький мужичок лежал со связанными руками в канаве рядом с их домишком. Были в гостях, он напился и напрасно приревновал жену. Побежал домой за ружьем и застрелил. Его посадили в тюрьму, а девочку взяли родственники.

Дым помаленьку стянуло. И наша ребячья жизнь двинулась дальше: ребята постарше нарыли за огородами в заросших окопах потемневшие пулемётные ленты, в зелень заплесневевшие гильзы, и мы ещё долго жили раскопками, и бабушка еле дозывалась меня на ужин.

12

Бабушка любила керосинки и отвергала керогазы как коварно-взрывоопасные. Керосинки были двух сортов: попроще – двухфитильные, высокие, и подороже, сытого вида, кастрюлеобразные с тремя фитилями и тремя иллюминаторами.

У нас была простая.

Запах керосинного чада и подгоревшего молока. Крик: «Мари Ванна, у вас керосинка коптит!» И в закопчённом оконце мечется чёрный язык. Что оконце из слюды, а слюда – минерал, мне удивительно. Как камень превратился в мягкое стёклышко?

Вечер, ноет комар. Лежу с книжкой и смотрю картинки: синее море с чешуйчатой волной и барашками. Белая лебедь, изогнув шею, смотрит на злого коршуна, пронзённого стрелой…

Бабушка собирается варить кашу. Отщёлкивает зажим, откидывает высокую двойную ногу, под которой две расселины с фитилями. Зажигает фитили. Загораются, чадя, две полосы, бабушка тушит спичку о воздух, закрывает керосинку и ставит кастрюльку – алюминиевую с длинной ручкой и вмятиной.

Кроме манной и овсяной каши бабушка варила на керосинке толокно. И кипятила молоко, чтоб не прокисло. Молоко я пил и парное, и кипячёное, и любил пенки, хотя остальные дети их терпеть не могли.

Простокваша ещё была с розовым сметанным верхом, нежно шершавым и будто плесневелым. Бабушка снимала его в кружку. Взболтанную, ледово-кускастую простоквашу из зеленоватой банки мы пили в жару. Простоквашу бабушка откидывала в марлю и вешала на гвоздик над кастрюлькой. Сыворотка капала в кастрюлю, кулёчек покручивался, и менялся тон капели. Вынутый из марли творог был в мелкую сетку и у верхушки со складочками от марли.

Но любимая моя еда – щавелевый суп с разрезанным яйцом и сметаной. И жареные лисички с картошкой.

За столом бабушка рассказывала про генерала Тучкова. Дескать, его спросили, куда наклонять тарелку, когда доедаешь суп, а он отвечал: если хочешь облить себя, то на себя, а если соседа – то на соседа. И про генерала Горчакова тоже что-то говорила, и я был уверен, что и Тучков, и Горчаков связаны со станцией Тучково и с Горчаковыми, у которых мы живём, и что это не совпадение, а устройство жизни, и одобрял, как всё по-хозяйски подбочно сделано.

Едва не забыл: на керосинке бабушка варила земляничное варенье с пенкой, которую мазала мне на чёрный хлеб, и я бежал с ним по деревне, как Галька.

13

Керосин привозила керосинная лавка – зелёная машина с цистерной. Останавливалась рядом с нашим домом, и если вся деревня собиралась с бидончиками по керосин, то мне нужна была машина сама по себе. Да и неудивительно: ГАЗ-51 тёмной армейской зелени, обвешанный шлангами, и запах: богатейшая смесь бензина и керосина. Во взваленной на спину цистерне, её наклоне назад виделось что-то боевое, одушевлённое, и машина вздымалась надо мной, как Конёк-Горбунок.

Стою рядом с цистерной. Идёт какая-то неотвратимая возня, хлопочет со шлангом шофёр – невысокий, молодой, в чём-то чёрно-сером и серой же кепке. Я настолько верно и заворожённо смотрю на машину, что он меня хватает и, вздымая к небесам, садит на цистерну лицом по ходу перед открытым люком, во мгле которого лилово мерцает керосин. Он суёт мне

в руку пистолет со шлангом, который велит опустить в горючее. До сих пор не могу понять, почему я совал пистолет, который должен быть с другой стороны шланга. Не помню. Может, чтобы заполнить шланг, поменять концами и пустить керосин самотёком? Или я, даже просто глядя, умудрялся напутать?

Сижу на бочке и понимаю, что все на меня смотрят. Очень хорошо помню и шланг, и пистолет – алюминиевый, и его ствол, и ручку со спуском. Всё большое, объёмное, из мужицкой жизни, железной, бензинной. Отношусь я к этому восторженно-подчинительно. Всё происходящее сильнее, быстрее меня.

Водитель залезает в кабину и решительно, безнадёжно-обрубающе захлопывает дверь. От этой хлопающей двери я холодею. Закрывшись, водитель заводит двигатель, и тот громко и натужно начинает работать. Я во весь рот взвываю оттого, что через секунду машина рванёт и, промчавшись по нашей улице, разгонится на спуске, взлетит и «через леса, через моря» помчит меня перед народом, и я буду еле держаться за люк, и где-то далеко внизу будет удаляться наша улица, толпичка бабушек, и среди них моя Миванна…

Водитель выскочил и бросился меня снимать. А я, продолжая вопить и деревянно тянуть руки, с первой доли секунды понимаю, каким позором оборачивается эта спасительность и что надо было выдержать, вытерпеть, выдюжить… Что неспроста так натужно зудел мотор, и что шофёр какой-то насос включал. И что я не только подвёл водителя, увидевшего во мне помощника и товарища, а прошляпил *поступок*.

14

Потихоньку кончалось лето. Ближе к осени обострялись дали и ещё сильнее манила дорога за Хутор на Томшинó, которое я считал Тамшиным. И это Тамшино с очарованным «там» звучало особенно таинственно и несбыточно. А даль потихоньку жухла, и вспомнилось, что рано или поздно ехать в город, где тоже жизнь, и я начинаю канючить:

– Бабушка, когда мы поедем в Москву-у-у?

А бабушка говорит чуть грустно и певуче:

– Когда вот тот дальний лес пожелтеет…

И в том, что пожелтеть должен именно дальний лес, я вижу печаль и тайну. Не то даль имеет лучшую пропитку от осени, чем ближние берёзы. Не то бабушка перевязана с этой далью тонкими и ноющими нитями, и не узнать, для меня оно сказано или впрямь бабушку изъело тоской по тому, далёкому Хутору.

По утрам я выхожу из дома и смотрю, как пожелтел дальний лес, насколько пятнист переход из зелени в желтизну. Лес потихоньку берётся золотом, и всё резче контраст меж светящимися берёзами и тёмными соснами.

Мы наконец уезжаем, но если весеннюю дорогу в Игнатьево я помню прекрасно, то ни штришка не осталось в памяти от нашего возвращения… И уже идём по Щипку – вокруг бензинный чад, грузовые машины шумно набирают ход, и голуби взлетают из-под ног, хлопая крыльями и смыкая их над спинами. Первый день проходит, второй, и я снова не могу заснуть и плачу:

– Бабушка… Хочу в дере-е-е-е-вню…

Дядя Ася

В Москве к нам приходил дядя Ася – сам собой прозвался он у меня таким именем. Без оттенков, просто ли «дядя» либо по родственной области – брат отца матери.

Дядя Ася был всегда в костюме, высокий, худощаво-стройный, с крепким, рельефным и сухим лицом. С палкой, тоже какой-то очень породистой, почти тростью, если б не рукоятка. О возрасте его я не задумывался – дядя да дядя. Не юноша, не дед, а что-то подчёркнуто взрослое.

На дяде Асе печать лоска. Пахло от него каким-то вкуснющим табаком, и табак этот не имел отношения к «северам-прибоям», вообще к «казбекам», «дукатам» и «шипкам» из ларька на Серпуховке. Дяди-Асин табак был из тех, что, если называть ароматным, пахучим, душистым, всё будет бедно да бледно.

Дядя Ася курил трубку, сигары и сигареты, причём обязательно особенные, иностранные. Меня больше привлекали зажигалки. Они пахли бензином и все были разные. Одна брусочком в шиферную волну – высокая, тускло-золотистая и обтёртая: на углах под золотцем серел металл. Сверху она открывалась подобием молоточка… Другая – под красноватое дерево, плоская и похожая на трубу от парохода. И обязательно грязноватая ватка, ребристое колёсико и кремень серенькой колбаской… Кажется, ещё и бутылочка с бензином имелась, из которой дядя Ася при мне, а может, и ради меня заправлял зажигалку. И запах… запах… И ватка, мокрая от бензина. И сушащая летучесть бензина.

Была у дяди Аси трубка, такая же красноватая в разводах, как плоская зажигалка. И такой же мундштук для сигарет. Дядя Ася брал его как трубку – все пальцы снизу, большой сверху. Табачные причиндалы хранились в карманах пиджака.

Той же масти была и палка…

Но главное, дядя Ася был астрономом, разбирался в звёздах и, по рассказам, имел телескоп. Приходил дядя Ася с женой – ухоженной, рослой, хорошо одетой и напудренной дамой, в чьём лице я находил сходство с какаду. Руки ухоженные. Перстень, бирюзовый и длинный, как фасолина, и оправа тёмно-серебряная в завитушках. И длинные ногти. И говорила она медленно, театрально и почти по слогам.

А у нас на Щипке была прабабушкина палка с резиновой набалдашкой, общественные бани на Строченовском, куда водили пешком прабабушку – полную, хромую, безглазую. И я случаем оказался в тех банях: приоткрытая дверь и вдали в пару голые женские фигуры, подсогнутые и будто пожилые. Меня в баню не водили и мыли в эмалированной ванне.

В нашей с бабушкой жизни видел я свой престиж. Как-то приехали родители из Марьиной Рощи, и я сказал отцу с гордостью: «Такая у нас холостяцкая тут обстановка». Отец возмутился.

Что ещё у нас было? Телефон на стене в прихожей – чёрный, блестящий и кремнёво-крепкий. На диске цифры и буквы.

И рядом дверь в уборную. Потолки высокие, уборная – как шахта. Крашена заодно с трубами в два цвета – низ коричневый, верх синий. Краска очень грубая, слой толстенный и капельно бугристый от перекрашивания. Синяя краска покрывала и трубу, которая вела наверх к бачку, и сам бачок. С бачка часовой гирей свисала на цепочке ручка.

Что-то забарахлило в нашей клокочущей уборной. Как раз приехал дядя Ася – в костюме с тонкой полоской по синему. Бабушка пожаловалась на бачок. Он вышел, а минут через десять вернулся и весело сказал:

– С сортирчиками всё благополучно!

Бабушка как-то очень верно и заинтересованно засмеялась, сходила проверить уборную и, вернувшись, подтвердила, что «Арсений всё починил», и как-то тихо добавила, словно в важных скобках или, как писали в пьесах, «в сторону» – «он же рукастый». И в этих словах, и в её смешке по довольно-то грубому поводу я почуял какое-то бабушкино совсем особое отношение к дяде Асе.

В каком возрасте осознал я, что астроном этот дядя Ася – мой дед, бывший бабушкин муж, пишущий стихи – не помню. Возможно, сказалась бабушкина привычка называть его Арсением – никогда не слышал, чтоб она сказала «твой дед» или «когда дедушка был на

войне». Да и сухо-лощёный его образ не вязался со словом «дедушка» – ни лавочки, ни седы бороды. К тому же с дедушкой всегда была жена, которая привозила его на «Волге» (решётка «звезда») с оленем, верх жёлтый, низ коричневый. Дико было, что он всегда приезжает с женой, не стесняясь бабушки, и что бабушка с ним спокойно разговаривает.

Сам он говорил несколько дрожаще, но не в смысле слабости голоса, а со своей вибринкой. И выделяя «я». Допустим, у бабушки «рябина» «звучало» почти как «рибина». «Я» произносилось в скользячку. А дядя Ася говорил: «р*я*бина», «пр*я*мой».

Особенности говора пришли позже, а сразу обнаружилось, что он хромает и что у него деревянная нога точно такого же коричнево-красноватого цвета, как трубка и палка. Когда он садился, поддёргивая брючины, то одна легко, воздушно как-то поправлялась, задиралась по скользкому лакированному дереву. Заметил я и шарнир на коленке, и чёрные металлические жилины на голени протеза. Бабушка рассказала, что на войне дедушку ранило и ему отрезали ногу и что у него была «газовая гангрена». И что дедушке прострелили ногу автоматной очередью, он то ли пытался ползти, то ли просто лежал, и нога со ступнёй вывернулась в обратную сторону. И что ногу несколько раз отрезали, укорачивали, пока не отступила гангрена. И что у дедушки орден Красной Звезды.

В ордене мне очень нравилась его стеклянность, прозрачная рубиновая глубина лучей. На самом деле он таким мне только казался – лучи звезды на этом ордене не просвечивают насквозь.

Я привык к дедушке в костюме – с палкой или на костылях (костыль с полукругом обхватки в локте – что-то от рукоятки у косы) и вдруг у него дома увидел одноногим с подвёрнутой штаниной. И чуть ли не резинкой на ней. В одноногом домашнем обличье он был намного проворней, чем в костюме и на протезе. Перепрыгивая на костылях, он освобождённо перелетал по комнатам.

Но больше помню его входящим в наш дом. Он наплывал из дверей, ширился фронтом, идя галсами вправо-влево на костылях, с подарком в руке. И всегда с несколько удивлённым видом, словно и сам себе дивился, как явлению. Помню, подарил мне часы с синим циферблатом и в блестящем рубленом корпусе. Он так и нёс их из дверей, надев на кисть металлическим ремешком – набранным из плиток, как гусеница бульдозера.

До появления дяди Аси я не задавался вопросом, почему бабушка одна. Казалось естественным: я один, она одна. Я не особо задумывался о парности жизни. Позже я всё-таки спросил бабушку, почему дедушка ушёл: «Ведь он же любил тебя». Она помолчала, потом сказала «тусклым» голосом: «Любил, а потом разлюбил».

Была у меня любимая поза спать: на полубоку, шея вытянута, одна нога подобрана, согнута в коленке, другая вытянута. Краешком души я даже представлял себя кем-то вроде аиста и, засыпая, тянул линию «рука – нога».

Однажды вечером бабушка долго читала мне Пушкина, а потом, поправляя на мне одеяло и увидев мою аистову полёжку, сказала задумчиво: «Так Арсений спал».

Пока жива

1

Любимым бабушкиным словом было «как следует», а целью жизнью – меня «как следует» образовать. И если музыка стояла особняком в бабушкиной лестнице ценностей, то остальное располагалось по нарастанию так: кинематограф, живопись, литература.

Мустафа дорогу строил,
А Жиган по ней ходил.
Мустафа по ней поехал,
А Жиган его убил.

Так невозмутимо ответил мне Чернышёв, когда я рассказал про фильм «Путёвка в жизнь», на который меня сводила бабушка.

Бабушка никогда не говорила «фильм» – только «картина». Эту картину она любила, как и Антона Семёновича Макаренко, а то обстоятельство, что колония была устроена в бывшем монастыре, она обходила.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.